

[Polaris]

Вивиан Итин



УРАМБО

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

CV



Salamandra P.V.V.

**Вивиан
ИТИН**

УРАМБО

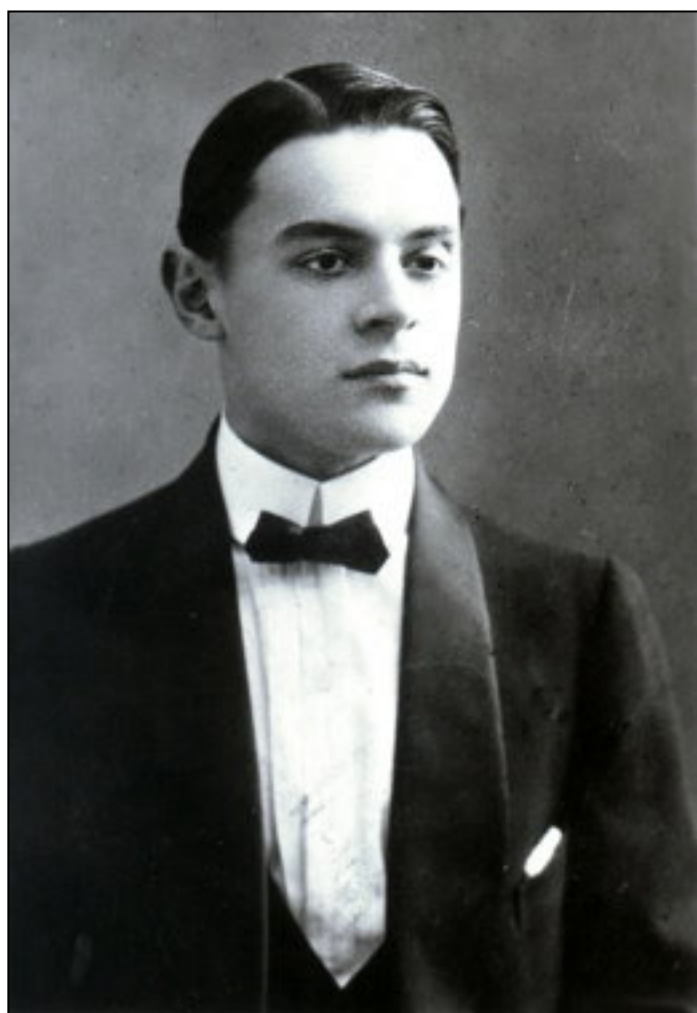
Избранные произведения
Том II

Salamandra P.V.V.

Итин В. А.

Урамбо (Избранные произведения. Т. II). — Б.м.: Salamandra P.V.V., 2015. — 150 с. — (Polaris: Путешествия, приключения, фантастика. Вып. CV).

Во второй том избранных произведений видного сибирского прозаика и одного из зачинателей советской научной фантастики В. Итина (1894-1938) вошла антивоенная фантазмагория «Урамбо», фантастическая пьеса «Власть» и избранные стихотворения.



УРАМБО

1. Пулеметы.

Мистер Грэди давно вышел из того возраста, когда путешествия кажутся романтическими. Напротив, поддавшись некоторой меланхолии, он думал, что приходится все чаще разъезжать по разным неблагоустроенным странам. Счастье же: семья, два бэби, иногда молоденькая Бетси, морские купанья, собственный авто, хорошее пищеварение. А здесь? Только на пароходе могут кормить свининой под экватором... И еще этот лопухий дьявол-дьявол, — вот опять бесится.

— Бой!

Под черный форштевень, звонко шипя, подлетает синь. В бездонном струящемся стекле влаги вдруг мелькнет пузырьек медузы, выпрыгнет дельфин. Кровь, как океан внизу, шумно кипит. Солнце.

Негр прислушался, сплюнул табачную жвачку, скатился вниз.

М-р Грэди — его хозяин, англичанин из Ливерпуля. М-р Грэди был озабочен. Новые поиски марганца на юге — ошибка. Германская компания «Людвиг Кра и Шульце» захватила огромные кавказские залежи. Самые удивительные дураки, конечно, русские.

Приходилось не пренебрегать мелочами. Правда, это была дружеская услуга; но, все-таки, передвижной зверинец Исаака Кини — солидное предприятие. М-р Грэди встал с шезлонга и, слегка рисуясь перед воображаемой Бетси своими неисчислимыми заботами, направился к лестнице.

М-р Грэди погрузил слона в Лоанде. Это был очень редкий экземпляр, по его словам. Слона м-р Грэди называл Урамбо. Так, в высочайших градусах Фаренгейта, в голубом дыме кэпстена мелькнуло название неведомого местечка экваториальной Африки. Урамбо был огромен и дик. Черный проводник попросил прибавки, — даже виски не помогало, — за водворение его в трюм.

Пряный запах колониальной снеди странно возбуждал. Среди огромных мягких тюков прохладнее, но душно. В конце — деревянная перекрещенная решетка. Слон сжал хоботом один из столбов, стараясь притянуть его к своим бивням. Задняя нога зверя прикована якорной цепью. Желтовато-белым клыкам не достать. Эластичный хобот был бессилен. Негр ударил по нему палкой. Урамбо отступил вглубь, гневно затрубил, поднял голову.

Когда-нибудь он в самом деле разнесет клетку, eh?

Рядом стоял м-р Грэди. М-р Грэди курил кэпстен.

— Давай ему меньше есть, бой. Из него слишком прет. Совсем не давай есть.

Сказав это, м-р Грэди спокойно пошел наверх.

Океан, как стекло. Колокол позвал ужинать. М-р Грэди размок, остался на палубе, тянул через соломинку ледяную смесь. Солнце по самому большому кругу неба бухнулось за горизонт. Агент знаменитой германской фирмы невольно снова удивился необычайной скорости бесшумного шествия тропической ночи. Он узнал, что м-р Грэди направляется в Петербург по марганцевым делам и, взглянув на стремительное солнце, за бутылкой сода-виски, вполне конфиденциально, предложил ему устроить в России партию бракованных пулеметов.

— Превосходные пулеметы! — уверял агент. — Брак совершенно неразличим и относится лишь к самому качеству материала. Вам, как представителю незаинтересованной державы, будет очень удобно... тем более...

Агент наклоняется к уху м-ра Грэди.

М-р Грэди официально миролюбив. Он тянет недоверчиво:

— Оу!

— Есть признаки, есть признаки...

— А не придется ли и нам ввязаться в дела на континенте?

Немец закурил крепчайшую черную сигару, проглотил густой комок дыма. Небрежно уставился на свой лакированный ботинок.

— Вы осторожный и практический народ. Вы поймете, что мы, совершенно беспристрастно, — непобедимы. У нас Кант, у нас...

— Ну, что касается имен...

— Впрочем, — быстро повернулся агент, — я надеюсь, вы человек деловой. В ваших правилах использовать случай?

М-р Грэди, внезапно, также холоден и внимателен.

— Да, это к делу, разумеется, не относится... Итак, каким образом вы предлагаете реализовать ваши машины?

В зените сиял Сириус. Небо на горизонте походило на светящийся экран титанической лаборатории. Гигантский палец зодиакального света оставил на нем тающий след. И волшебной фосфорической лентой горел океан, вспененный винтами парохода.

— Человек, коктейль!

— All-right.

— А кто эта... мисс, — eh?

Тогда, вместо черных экваториальных ночей, подавляюще внезапных, на шестидесятой параллели совсем исчезла ночь. Над Петербургом трепетали светлые бирюзовые газы. Беспощадный город, тупой, тяжелый и гениальный, вдруг превратился в легчайшую феерию. Значит, можно мечтать о несбыточном.

В бессолнечном свете, против призрачных масс крепости и дворца, первокурсник Шеломин нанял у сонного чухонца быстрый ялик. Медленно колебались и падали воды Невы. Посредине реки Шеломин бросил весла. Была полночь. Было светло.

В этот день Шеломин сдал свой последний экзамен. В его сознании светились фиолетовые пучки круковых трубок, мчались непредставимые электроны, вспыхивал сернистый цинк. Он мечтал о славных открытиях, которые он делает. Тогда мир становился неожиданно другим, легким и

счастливым. И в этот мир, конечно, входила Надя Никольская. Шеломину было 19 лет.

Улицы изнывали людьми. На обратном пути за ним долго шла женщина и, казалось, какой-то настойчивой страстью звучали ее заученные формулы...

«Хорошенький, пойдем со мной!
Мужчина, пойдем спать».

Дома его ждал Петя Правдин, только что кончивший гимназист, сиявший улыбками и новеньким студенческим мундиром. Правдин объявил, что завтра будет пикник на Канонерском острове. Сборный пункт — у курсисточек Оли-Тони. Придет Надя.

Правдин остался ночевать. Шеломин кипятил чай над керосиновой лампой. Ламповое стекло походило на трубку Крукса, а желтый огонь на волосы Нади, освещенные солнцем. Он видел городской сад, каток, лодку ночью на быстрой реке, всю их длинную любовь, их обещания и грезы. Как освободить энергию электронов? Чтобы завоевать, надо работать. Он положил палец в щель приоткрытого ящика стола и задвинул ящик.

Палец болел, распух; но Шеломин не мог заниматься. Его глаза были серы и упорны, а губы изогнуты, как обыкновенный, знаменитый, лук амура. Ему хотелось победы сейчас, немедленно! Сейчас, немедленно хотелось совсем других стен, чем у его каморки с деревянной кроватью и одним столом.

И так же мучаясь, странно входя в его маленькую судьбу, безумея от ночного сияния Финского залива, плыл Урамбо.

Земля, рождающая жизнь, отогревала свой северный бок. Слоновьи стада вытаптывали тропические поляны. В новой клетке Урамбо, на русском пароходе, сумерки белых ночей. Темная безвыходная страсть скапливалась, жгла титаническое тело, как отравы, брошенная бешеной собаке; но гипноз однообразия, кто-то беспощадный и хитрый, да-

вил, сковывал сердце, заставлял каждый мускул двигаться медленно, послушно.

Властелин сидел за письменным столом в пижаме, в огромных очках с круглой черепаховой оправой. В эту последнюю ночь пути на море он вновь просматривал свои бумаги, отщелкивая фунты и шиллинги на маленьких счетах из слоновой кости. Лицо его, обыкновенно добродушное, круглое, вызывавшее улыбку, теперь было серьезно и вдохновенно. Теперь он был частью силы, правящей миром. Теперь он мог вызвать уважение, преданность или ненависть.

Около трех утра м-р Грэди сказал: «All right» и захлопнул записную книжку. Он с удовольствием зевнул и пошел спать, прополоскав рот и горло патентованной жидкостью, уничтожающей дурной запах во рту.

2. Коперник.

Шарманщик крутил в колодце проходного двора свой несложный громкий репертуар. Шеломин, назначенный кассиром, дал ему целый полтинник и студенты, построившись, двинулись с маршем «Тоска по родине» впереди.

Бывший классный наставник Пети Правдина в ужасе соскочил с тротуара. Петя Правдин трепетал. Это была революция. Верх у шарманки ситцевый, красный.

Вдруг марш взвизгнул, оборвался, квадратный кумач помчался назад, в панике разбивая ряды. С фронта величественно подходил фараон. Революция кончилась. Этика Пети Правдина, лишенная классного наставника, получила более солидную поддержку.

Впрочем, фараон был занят и, зажав рубль, великодушно разрешил шарманщику удирать. Посредине улицы стоял катафалк, окруженный толпой. Черный рабочий кричал белому факельщику:

— Сукин сын, раз сказано бастовать, какое право имеешь работать!

Дамы в трауре взвизгивали в ответ бабью брань.

Гигантские трубы, как недокуренные папироски в пепельнице северного неба, выбрасывали последний дымок. На петербургском горизонте застыла виселица подъемного крана. Близорукий и тонкий, в черной куртке и черной косоротке, политехник Рубанов, обвел рукой видимый сектор, весь огромный мир и проговорил, волнуясь:

— Das Kapital...

Розовый беловолосый Петя Правдин не понял и, взглянув на фабричные строения, подтвердил:

— Да-с, капитал!



Финский залив — море не море. Ультрамарина в нем нет. Озеро стальное, стальными струйками бьется в угловатые камни берега. Но для курсисточек с Бестужевских, медицинских, зубоврачебных, первый год из проклятых своих городишек, это: «Какой простор!»

Пикник происходил по установленному ритуалу: чай с домашними произведениями Оли-Тони, пиво, кое для кого водка и студенческие песни.

К берегу причалил восьмивесельный щегольской ялик с французскими моряками, русскими женщинами и одним в штатском, с большой лохматой седеющей головой, который потом называл себя журналистом, поэтом и писателем. Его настоящая фамилия была Рабинович; но, подписываясь, он перевертывал ее: «Чивони Бар», — это звучало по-итальянски. Французы вытащили стол, складные стулья. На стол — белую скатерть, вина, печенье, банки.

Водка действовала быстрее французских вин и аперитивов, через полчаса студенты воодушевленно орали:

«Коперник целый век трудился.
Чтоб доказать земли вращенье, —
Дурак! Зачем он не напился,
Тогда бы не было сомненья...»

Писатель подошел и приветствовал от имени союзников «надежду России, учащуюся молодежь»...

Через минуту Петя Правдин, пьяный и счастливый своей независимостью от классного наставника, объяснял француз:

— Коперник, *vous comprenez*? Дурак!

Офицер беспомощно оглядывался и повторял:

— Почему вы не привели своих дам?

— Дурак! — стукнул себя по лбу Правдин. — *Voilà*, ром буль-буль-буль и лемонд, отур, никаких сомнений...

Вдруг он поперхнулся.

— Шутки в сторону, я напился до чертиков. Раньше не верил, я вот напился...

Правдин заморгал, протер глаза. Нет! — опять: прямо на него мчалась фантастическая огромная глыба, черная, чутунная живая буря! Визжали женщины, бежали, задирая юбки в воду, черпая тувельками ил; лопотали французы. Писатель растерянно вынул записную книжку... Ррр-ах! Французский буфет перевернулся, зазвенел, чудовище исчезло, а дальше, чудилось, неистово скакал негр, размахивая руками, потом — с десятков свистящих фараонов и долговязый человек в белых брюках, крахмальном воротничке, круглых очках и без пиджака.

Петя Правдин подполз к берегу, мочил голову и бормотал, стуча зубами:

— Вот напились до чертиков, вот напились...

Шеломин не пил. Надя, как нарочно, все время болтала с этим пустышкой, Александровым. Шеломин не думал, что везде в мире — в джунглях, трущобах и дворцах, каждая самка дразнит своего самца. Он стоял на крайнем плоском камне у воды и смотрел, не видя, на сплюснутый оранжевый диск. Ему хотелось сильнее, сильнее, до крайнего предела расширять грудь, сжать рукой сердце, поднять высоко, чтобы всюду разбрызгалась его сладкая боль. Надо было действия, безумия, борьбы — сейчас, немедленно!..

Урамбо был беспокойно неподвижен. Когда горизонт залива закрыл солнце, вокруг затолпились, закричали люди. Прыгали по крыше его клетки. И, вдруг, расступились, —

страшная сила рванула и понесла его, раскачивая, вверх, на сумеречный свет. Урамбо стоял неподвижно. Только его маленькие глаза краснели и внимательно вглядывались за решетку. До сих пор там, за ее железными крестами, были одни и те же мертвые груды грузов, змеинные клубки канатов и тьма. И, внезапно, мелькнула зеленая земля, — сияющая лента воды, голубое небо. Урамбо вспомнил. Его великая мука, застывшая, как вал, на мертвой точке, вдруг сдвинулась, стала горячей, тяжелое тело легким. Урамбо шагнул вперед, цепь натянулась... так один раз он запнулся за цепкую лиану в дебрях. Ременный обруч закрипел и оборвался. Слон поднялся, положил гигантские передние ступни на решетку и, уже совсем радостно, в захлестнувшем порыве, бросился вперед. Клетка разлетелась без боли. Урамбо осторожно отбросил подвернувшегося грузчика с бочонком сельдей и, подняв хобот, помчался навстречу влажному ветру...

Шеломину, как Урамбо, хотелось бега, задыхания, освобождения. Он любил охоту, любил часами бежать за слабеющим лосем, любил шум бешеной крови, возбуждение, делающее неутомимым тело. Поэтому, не подумав ни секунды, он первый бросился за Урамбо по огромным следам.

3. Круглый глаз.

В рабочих районах были крупные демонстрации. Улицы чернели толпами. Их лозунги были скромны; но на перекрестках бледные люди с большими подозрительными бородами в своих несложных речах говорили сразу и о зарботке и о Николашке, Распутине, жуликах-министрах. Все это, конечно, было давно всем известно. Об этом народ пел в песнях. Но теперь праздная толпа, вдруг освобожденная от будничной каторги, ясно и резко, не выговаривая слов, думала каким-то общим, большим мозгом: как же могут

они, такие сильные, и бесчисленные, терпеть, гибнуть, — из-за кого?

Полиция была вооружена винтовками.

Околоточный Петухин, преследовавший со своим отрядом Урамбо, бывший кадровый офицер, любил воображать себя героем. Он размышлял о будущем своем рапорте, где дипломатично, но ясно, будет отмечено его исключительное влияние на благоприятный исход бунта. Ведь если бы слон перебрался через узкие каналы, какой бы это был превосходный повод для сборищ!

М-р Грэди метался в толпе и зывал.

— Есть здесь кто-нибудь, кто говорит по-английски?!

Надя, весь год учившая **First Book**, нерешительно подошла к нему.

— Скажите им, — закричал англичанин, — чтобы они не стреляли! Скажите, что он стоит две тысячи, три тысячи! Скажите, что я послал уже за веревкой.

Урамбо вошел в воду, остановился, обливаясь из хобота.

Надя перевела, что м-р Грэди послал за веревкой.

Петухин едва взглянул на нее, — все казались ему забастовщиками, — и выстрелил.

Слон повернулся, странно закричал, кинулся вперед. Фараоны, не целясь, стреляли в гигантское туловище.

Урамбо осел на задние ноги, поднял голову, озаренную темным нимбом громадных ушей, запрокинул, как призывную трубу, хобот. Его глаза отразили нечеловеческую тоску. Маленький кровавый рот вдруг стал жалобным, детским. Жизнь, выходившая вместе с кровью, излучала, погибая, потоками впитываясь в грязь, страшное горе. Шеломин почувствовал влагу на своих глазах. Он выхватил у растерявшегося солдата винтовку, подождал секунду, когда слон качнул голову, и выстрелил между глаз...

Шеломин подошел к труп. Иногда бывает безразлично, кто убит. Смерть. Круглый глаз был раскрыт. Сначала, когда длилась агония, он отражал боль, гнев и смертельное горе; потом застыл, стал неподвижным и мудрым. Шело-

мину хотелось войти в этот беспредельно спокойный печальный взор, пропасть в нем, исчезнуть...

Кто-то дернул его за руку. Перед ним стоял Рабинович. Его волосы походили на уши Урамбо, глаза сверкали.

— Как ваше имя? — гневно закричал он, касаясь карандашом своей записной книжки.

— Анатолий Шеломин...

Ответил машинально. Круглый глаз плыл по грязному черному сюртуку, окруженный желтыми фосфенами.

— Какого факультета?

— Физико-математического... но...

— Вы мне ответите за это убийство, пигмей! — забрызгался писатель и побежал прочь.

— Зачем ты стрелял? Разве ты полицейский? — подскочила Надя.

Шеломин вдруг побледнел. Давно, в детстве, он застрелил Надину кошку и мучился, как преступник. Теперь, внезапно, появилось совершенно то же переживание.

— Но ведь они не умели стрелять! — попробовал он защищаться

— Разве ты полицейский?

...М-р Грэди направился к своей неожиданной переводчице. Это была красивая девушка — заметил он — высокая, с белокурыми косами, положенными коронкой, яркими губами.

Англичанин извинился за свой костюм. Негр принес ему пиджак и шляпу.

— Я много слышал о русских женщинах, — сказал м-р Грэди.

Надя готова была расплакаться.

— Что мы скажем теперь иностранцу?!

— Скажи, что мне очень, очень жаль слона! — воскликнул Шеломин.

— Пустяки, — сказал м-р Грэди.

Его точный мозг мгновенно отметил, что, согласно пункта четвертого заключенного с передвижным зверинцем условия, он был обязан доставить слона в Петербург, т. е. в гавань. Остальное его не касается. Поэтому зверинец должен

заплатить ему. В сущности, это даже к лучшему: меньше хлопот. Что же касается Кини, то он, конечно, сумеет устроиться с полицией...

Подошел катер. На набережной м-р Грэди взял автомобиль.

— Я буду очень признателен, если вы будете моим переводчиком на этот вечер.

— О, я знаю только несколько слов, — ответила Надя, наполняясь гордостью.

Она первый раз в жизни могла поехать в автомобиле. Отказаться было невозможно.

— Толичка, купите мне билет на поезд, — сказала она. — Мы ведь вместе едем?

Шеломин расцвел.

«Ах, глаза — синие, ясные, радость, что бы ни случилось, они с ним!»

— До завтра! — крикнул он вслед.

Надя превосходно отвечала на вопросы: «который час» и «какая улица», улыбалась, подставляя лицо мягкому ветру и, наконец, даже попыталась завязать разговор.

— Почему слон убежал?

М-р Грэди нахмурился.

«Черт!» — подумал он: «Надо было послушаться гнусавого американца, достать слону самку».

Вслух ответил уклончиво:

— Не знаю. Со всеми так бывает...

— Да... да... У нас была лошадь, Воронко. Старая и смиренная, как башкирин... Но стоило выехать на ней в степь, она несла и бесилась, как дикий трехлесток.

— Yes, yes, — закивал м-р Грэди.

М-р Грэди узнал, что Надя на лето уезжает. Прощаясь, он вежливо предложил учить ее английскому языку, если она захочет увидеть его, когда вернется в Петербург...

Перед глазами Шеломина, в ореоле желтых фосфенов, плыл круглый глаз. Вдруг из дверей пивнушки выскочил Рубанов, схватил за руку.

— Э, тезка, задумался? Пойдем пить, забудешь свою Наденьку.

В кармане у Рубанова бутылка водки, — с пикника.

Шеломину странно, что вот, человек пьян и все кажется, будто он никак не может понять чего-то. самого важного для него и очень простого.

— Ты только не болтай, — шепчет Рубанов. — Может быть, меня ищут шпики. Пей!

Шеломин выпил: может быть, вспомнит, поймет.

— Опять задумался... На-ди-нька...

Нет, не вспомнить. И не забыть Нади. Разве можно забыть такую девушку? Сколько ни пей.

Вечером, перед тем как лечь спать, м-р Грэди записал в своей особой записной книжке, где ничего не было касающегося пулеметов и марганца:

«Русские женщины имеют самые прекрасные фигуры в свете».

4. Титан и пигмей.

У Рабиновича не хватило гривенника на трамвай. Пьяный и злой, он шел в свою комнату на Старо-Невском проспекте. И жизнь в эту ночь показалась ему особенно гнусной, когда он, по привычке, взял перо.

Под столом звякнули пивные бутылки. В углу валялось грязное белье. Прачка забыла взять. В ручном зеркале, в черных волосах, седые нити.

Рабинович не поспел в лодку. Он слышал выстрелы, ускорил шаги, запыхался. На фоне стального зеркала залива стоял темный гигант. Карлик прицелился. Рабинович кричал: «Не смей!» Нервно щелкали винтовки... Тогда у него появилась эта смутная мысль..

От запоздавших пассажиров и матросов он узнавал подробности истории Урамбо. Профессиональный навык побуждал его использовать всякое потрясение.

В ручном зеркале, в черных волосах, серые нити. И на старых щеках колючая щетина.

«Вот прожить так жизнь, поставлять редакциям материал для рынка, сочинять повести и стихи — грамотные и надоевшие... А что лучше?»

Вдруг, в ручном зеркале, неподвижные глаза ожили. Рабинович вспомнил свою мысль. Он написал заголовок:

Т и т а н и п и г м е й.

Высоко, в неясных сферах пьяной мысли мелькали какие-то едкие образы.

«Если он не нужен, никому и ни для чего, значит не нужен, никчемен в мире человек».

Человек — прилежный студентик — зубрит ложную науку, чтобы, в свою очередь, мучить потом маленьких детей... В девственных дебрях бродит грозный дикарский бог. Леса трепещут перед ним. Стихии веселят его. Мир подчиняется ему... Но человек, белое обезьянье племя, открыл огонь и порох, гром и молнию, подчинил чудо. Огнем и громом он завлек титана в загородку из высоких толстых столбов и держал его там, пока его душа не помутнела... И когда он проснулся, преодолел волшебство, снова стал богом, — человек, трусливый пигмей, убил его из вонючей трубки, за тысячу шагов...

Неожиданно Рабинович увлекся работой. Давно он не писал так легко.

Шеломин лежал в кровати, в комнате была белая ночь. После усталости, вина, бесчисленных видений, его тело расплывалось в какой-то неподвижной эйфории. В глазах расходились радужные круги, желтые и голубые фосфены, сливались в сияющее море, на берегу Урамбо трубил в рог хобота, Надя, купаясь, выходила на пляж, лодка качалась. Выше и выше...

Утром, после бессонной ночи, он встал: дежурить за железнодорожными билетами.

Утром Рабинович был у редактора вечерней газеты. Редактор уныло потянулся к рукописи.

— Ну, что у вас там?...

Дела были плохи. О забастовках и Распутине нельзя писать. Никакой войны. Чем жить?

Редактор лениво развернул рукопись. Вдруг он задержался, оживился. Сразу, безошибочным чутьем, он угадал, что наконец, — наконец...

«Вот единственный расстрел, о котором можно писать сколько угодно! Сенсация!»

— Вам аванс?

Рабинович вышел на улицу, подпрыгивая от предвкушения многих, вновь доступных, приятных гадостей.

Он обедал в знаменитом литературном кафе. На его столике, к общему изумлению, появилась бутылка хорошего вина. Его окружили. Рабинович угощал, читал свою статью. Литературные дамы предложили поехать на Канонерский. Рабинович взобрался на холмик, на том месте, где Петухин распорядился зарыть Урамбо, и вдохновенно декламировал:

— Я видел, я видел его! Нет, это вовсе не было то, что вы называете «слон», — смирное ленивое животное, жующее булки в зоологическом саду. Из него, как от солнца, излучалась сила. Те неизвестные жизненные лучи, которые присущи всем нам, но только невероятно напряженные. В нем был бунт. Стихийное, дионисовское начало. То, чего нам больше всего не хватает. То, что мы должны разбудить в себе! Подумайте, почему он так бешено стремился к свободе? Почему так страшно ненавидел свое стойло? Он сломал его, как должна сломаться наша гнилая цивилизация, он вырвался через все преграды вперед, во что бы то ни стало, на волю!... Вот, что я увидел, вот, что должно вдохновлять нас, вести на путь борьбы, во что бы то ни стало, вперед...

Рабинович говорил долго, глядя поверх голов, вывертывая длинные руки с перекрещенными пальцами, но все слушали и разошлись по домам, полные самых горячих побуждений.

Женщины украсили могилу Урамбо цветами. Обсуждали проект памятника. Урамбо должен был олицетворяться

человекоподобной, титанической фигурой во фригийском колпаке свободы...

Вечером, когда м-р Грэди изобретал комбинации с немецкими пулеметами, а Шеломин, в сладчайшей своей эйфории, стоял в очереди у восточной кассы, Рабинович допивал аванс в развеселом кабаре.

В зал городской железнодорожной станции вбежал мальчишка газетчик.

— Вичерние Биржевые! Убийство Урямбо! Вичерние Биржевые! Убийство Урямбо!

5. Покровители животных.

Слава Урямбо росла. По пути, в провинциальной газете, Шеломин прочел:

Т е л е г р а м м ы.

С.-Петербург. Принц Сандвичевых островов, Урямбо, убит анархистами. Главарь злоумышленников, Анатолий Шеломин, студент, скрылся.

— Скоро с вами нельзя будет показаться, — прошептала, побледнев, Надя Никольская и убежала плакать — в уборную.

Поезд мчался через башкирские степи.

В железнодорожном вагоне третьего класса студенты и курсистки восточных землячеств, на трех полках друг над другом, как в парильне, сплавленные жарой в мокрый ступок, пели свои студенческие песни...

— «Дурак. Зачем он не напился,
Тогда бы не было сомненья...»

Рожь, ковыль, скот, бахчи, перелески, деревушки.

Мир, после трех дней в вагоне, на самом деле кружился, кружился без конца.

Толя Шеломин ничего не мог понять.

На востоке Европы была ночь. Ночью священника Никольского вызвали к болящей старушке. Дело было стоящее. Никольский поехал. Это была его профессия. И утром, после причастия, старушка, освободившись от мирской суеты, подписала завещание, отказав на помин души, т. е. в полную его, священника Никольского, собственность, свой домик с фруктовым садом и огородом.

Возвращаясь, Никольский бережно поддерживал ларек с «телом и кровью» своего бога, так удачно помогавшего ему в делах.

«Недолго проскрипит старушенция, господи спаси и помилуй...» — мелькало в его пустом и светлом сознании.

Так у Никольского скопилось в его приходе шесть домиков, по откосу большого оврага, с яблонями, малиной, крыжовником и парниками.

«Иначе, как быть с детьми?»

Никольский непоколебим в своей библейской отцовской правоте. У него четыре сына в реальном училище, один сосунок и дочь, Надя, курсистка-невеста.

Вспомнив о Наде, Никольский хмурится: не нравится ему Шеломин. Офицерская вдова, Шеломиха, живет пенсией, яблоками и вишневым вареньем, а сам он, сдуру, готовится на учителя.

Впрочем, Никольский смиренномудр и терпелив. Только все чаще и ласковее приглашает помощника присяжного поверенного Либуркина. Он любит потолковать с ним насчет конституционной монархии, угощая собственными особенными яблоками на садовой скамейке, откуда виден овраг, сады, парники и огороды и совсем не видно зданий, хотя это место тоже, почему-то, называется городом.

Никольский читает каждый день «Наш Край», орган местных патриотов, а Либуркин приносит либеральный «Наш Вестник», редактор которого два раза в год сидит в тюрьме. Сидит, конечно, не настоящий редактор, ловкий и говорливый адвокат, а запойный пьяница, мещанин Тирибакин. За каждую отсидку Тирибакин получает 20 рублей...

Занятый размышлениями, Никольский подъехал к своему голубому домику. Один из бесчисленных реалистов, первокурсник Иля, подал ему, приплясывая, «Наш Вестник» — от Либуркина. На обертке:

«Срочно. О. Павлу в собственные руки».

Этого никогда не случалось раньше.

Никольский развернул газету чуть дрожащими руками.

«Уж не насчет ли таксы на требы чего?»

Все попы города были злы на Никольского за то, что он сбивал цены. Отец Иоанн грозил архиереем и газетой. Он был даже у редактора. Только, по глупости, попал не к адвокату, а к Тирибакину.

Синим карандашом было подчеркнуто:

«Принц Сандвичевых островов...»

— Господи Иисусе Христе!

На полях — надпись:

«У современной молодежи нет никакого разумного чувства постепенности».

Никольский спешил к своей пухлой половине...

Когда в дверях голубого домика появился Шеломин, попадьа загородила ему дорогу.

— Что это вы, батюшка, в газетах пишут, арапку какого-то убили? Чай и арапка человек.

Шеломин нашел Надю в парке. Она прогуливалась по главной аллее в белом шелковом платье с мопсом и Либуркиным.

— Толичка, — сказала Надя, — мы не можем больше встречаться.

Он ушел не ответив. В его жизнь ворвалось скверное и смешное, но он не знал, как бороться. Он был в редакциях. Газеты напечатали опровержение, с отеческим внушением, впрочем, что — «молодому человеку не следовало вмешиваться в действия властей». Однако, охотничий кружок, членом которого Шеломин был с четвертого класса гимназии, исключил его почти единогласно.

.....

Лето было прекрасно и полно гроз. После зноя падал огромный град. Зной гнал из города в липовые леса, на холодные горные реки. Шеломин, самозабвенно и болезненно, пытался уйти в книги. Работал над задуманным весной рефератом о температуре неокруженных атмосферой тел в межпланетном пространстве; чертил проект нового двигателя внутреннего сгорания. Иногда он не выходил из дому много дней подряд.

— Толичка, ты ведь на каникулы приехал, брось свои книжки! — упрашивала Наталья Андреевна, его добрая старая мать, любящая и испуганная.

Шеломина раздражали ее неумелые утешения и расспросы. Тогда он уходил в соседнюю слесарную мастерскую к литейщику из депо, механику-самоучке — Анютину.

На косяке слободской избенки торчало древнее объявление:

«Здаецца угол Хот через хозаяй ку».

Угол давно был снят Анютиным.

Там литейщик умудрялся собирать выточенные и отлитые по частям двигателя моторных лодок. Шеломин настойчиво занимался с ним, делал чертежи и расчеты, а литейщик бесплатно мастерил модели. Теперь их дружба стала

еще крепче, так как Анютин ничего не хотел знать о его газетных приключениях:

— Начхать мне на всех Урамбов!...

Потом, у хозяина слесарной, Жилкина, Шеломин занимал велосипед и мчался в пустынные чащи и предгорья, пока не изнемогал. Там он надолго мог забыть родной домик с иконами, лампадками, с жильцами, с яблочным и вишневым садом, по откосу того же оврага, где в синеватой зелени тонут особнячки чадолюбивого отца Павла.

Шеломин возвращался усталый, но с прежним возвращенным упрямством в серых глазах. Он заставлял себя думать о разных Надиных недостатках. Однажды Рубанов спросил ее: «Что будет, если Землю пробуровать насквозь?» Надя ответила: «Пустое пространство»... Конечно, если ее спросить, как в учебнике, она ответила бы превосходно; но на самом деле ее мир все еще покоился на трех китах.

«Образование ей нужно только для большей привлекательности», — со странной радостью заключал Шеломин.... — «Так еще в древней Греции женщины читали Гомера, чтобы придать оживление своим лицам...»

Впрочем, подобные рассуждения помогали ненадолго.

Потому что Шеломин знал:

В знойный медовый вечер, когда цветут липы, на той самой скамейке, рядом с Надей сидит Либуркин и говорит ей о Ницше, о сверхчеловеке, хотя у Либуркина геморрой.

Однажды Наталья Андреевна вбежала особенно взволнованная и суетливая.

— Толичка, директор, директор к тебе!..

Директор гимназии, высокий старик с длинными волосами и бородой, как у Владимира Соловьева, вегетарианец и председатель общества покровительства животным, искавший популярности у молодежи и считавший себя, поэтому, крайним либералом, вошел в комнатку Шеломина, как доктор к больному.

Он был сторонник прогресса, дорожил временем и сразу приступил к делу.

— Вы были хорошим прилежным учеником, — начал он сладко. — Я пришел, желая помочь вам, объяснить, как умею, то моральное негодование общества, какое вызвали вы. Я убежден, конечно, что это — случайность, юношеская горячность, может быть. Тем не менее, я хочу, чтобы именно вы почувствовали то необычайно светлое, радостное и высокое, что составляет самую душу этого странного случая... К славе и чести вида *Homo sapiens*, его этические нормы распространяются не только на себе подобных. Нет, постепенно, все живое и страдающее находит в культурном обществе все большую и большую защиту. Подумайте, к каким вершинам мы идем! Скоро нельзя будет безнаказанно убить даже кошку!..

— Кошку! — воскликнул Шеломин.

— Да, самую обыкновенную кошку, — подтвердил директор... — Что касается меня, я не стыжусь признаться, — я плакал, когда читал... двести пуль... такой большой слон...

Директор достал носовой платок и высморкался.

— Вот, мой дорогой, я думаю, что ясное сознание вины поможет вам правильное оценить происшедшее. Вы должны постараться загладить эту... ошибку. Я думаю, публика была бы до известной степени удовлетворена, если бы вы вступили в наше общество, взяв на себя, таким образом, определенные обязательства на будущее время... Подумайте, молодой человек!

Директор ушел, гордый от сознания исполненного долга.

Шеломин бросился к своим спасительным формулам. Только они никогда не изменяли, были понятны и верны...

Он не мог бы решить, каким взрывом вспыхнет его молчаливое бешенство и когда он перестанет сопротивляться ему, если бы, в Сараево, такой же юноша, быть может под влиянием такой же тоски, ненависти и любви, не всадил пули в слоновью тушу Франца-Фердинанда. Так как Франц-Фердинанд был несравненно более крупным зверем, Урамбо был забыт.

Мир двигался неизбежным путем. М-р Грэди продал свои пулеметы.

Скоро в газетах, вместо самоубийств, погромов, проделок господина министра народного просвещения и других национальных развлечений, появились грозные имена левиафанов... — Австрия, Сербия, Германия, Франция, Россия...

6. Черная каска.

— Война!

Шеломин нашел выход.

Казачий офицерик Зарубин приехал на один день в командировку, привез немецкую каску. Она была черная и блестящая, с медным орлом и медным рогом. Каска попала на туалетный столик невесты Зарубина, Тони Петровой. У Тони перебивал весь город. Надя завидовала подруге и мечтала: «Как прекрасно иметь жениха на фронте!» Либуркин был белобилетник. Надя стала вспоминать Толю.

Слава Шеломина исчезла еще скорее, чем Урамбо. Кроме мобилизации, в городе произошли не менее потрясающие события.

1) Начальница женской мариинской гимназии обращалась к акушерке.

2) К городскому голове вернулась жена, сбежавшая два года назад. Супруги помирились, устроили пир, как на свадьбе. И чуть ли не в тот же день из консистории пришла бумага: разведены.

3) В летнем театре, на пьесе «Угнетенная невинность», когда герой пьесы произнес фразу: «Жены существуют для того, чтобы изменять своим мужьям», сын председателя местного отдела союза русского народа, Костегукайло, вышел из театра, а затем вернулся с кирпичом в руках и ударил им свою жену по голове.

Еще хуже было на небе. Заговорили о цеппелинах.

«Кто их знает», — размышляли обыватели, — «немец — народ продувной...»

Отцы города, лавочники и бабы в первый раз, после давно забытого детства, подняли очи горе. И звездной ночью, в темной опрокинутой пропасти небосвода, они открыли странные, невиданные вещи. Особенно поразил их громадный желтый топаз Юпитера. Такой звезды, конечно, не могло быть. Это был прожектор. Базарные торговки собственными глазами видели немцев...

— И все, антихристы, в котелках!

Начальник гарнизона издал приказ, гласивший, что «п о ж а р ы, в о з н и к ш и е о т в р а ж е с к и х с н а р я д о в, с л е д у е т т у ш и т ь о б ы к н о в е н н ы м с п о с о б о м».

Обсуждение этих происшествий и турецкие проливы заняли все свободные языки.

Шеломин ходил радостный, зная, что вот еще миг и его подхватит буря, как тогда — Урамбо!

И на многих, совсем других лицах была радость. Люди жили, казалось, века, тысячелетия, каждый в своей норке, на двуспальных кроватях, на мягких подушках, на простынях, пропахших супружеской влагой; ругались, били жен, вечерами, после «присутствий», ездили в клуб — перебраться в картишки и выпить, в публичный дом — разжигать вспухшую страсть. От двуспальной постели, женских слез, зеленого стола и публичного дома — куда уйти? И, вдруг, война, жизнь, чужая властная сила выдернула из заклятого круга — прежде всего, в степные просторы, в леса, на чистый воздух — человек стал выше. Каждый, конечно, думал, что останется жив, что война продлится самое большее год...

Шеломин смотрел на портрет своего отца. Лейтенант стоял, гордо подняв голову, с морским биноклем в руке. Лейтенант погиб в Японском море. Синие просторы мира

звали. Они были радостны и бездумны. Шеломин решил: он пойдет.

Правление сталелитейных заводов акционерной компании «Людвиг Кра и Шульце», со всей, присущей деловым людям, осторожностью, разрабатывало пятилетнюю программу военной производительности.

Наталья Андреевна потемнела, задумалась, замолчала. Война, бог, судьба — были одно. Разве пойдешь против?

Шеломин забросил формулы и моторы, бродил по улицам улыбаясь, подняв голову, как будто отомстил давнишнему. Знакомые приветливо кланялись: новость уже облетела город. Поп Никольский догнал, остановил:

— Что не заходите?! Надинька-то скучает...

И подмигнул.

Председатель охотничьего кружка долго неопределенно извинялся, обещал «пересмотреть вопрос» и преподнести, перед отъездом, финский нож.

По Центральной шлялась патриотическая демонстрация: человек сто гимназистов, студентов и еще непризванных лавочников. Впереди, рядом с царским портретом, шествовал студенческий лидер Орлов. Он был под административным надзором, не мог кончить университета, у него была семья. Война, резолюции германских социал-демократов были прекрасным поводом для помилования. На базаре и в парке Орлов с большим старанием произносил победоносные речи, а у дома губернатора организовал сбор пожертвований героям. Его Превосходительство вышел и благодарил.

Шеломин не любил разбираться в политике, он занимался физикой; но к его горлу подступал восторженный ком: эсдек Орлов как бы благословлял его решение с высоты самых знаменитых теорий.

Ополченец, крепкий мужик с большой черной бородой, робко дернул Шеломина за рукав.

— Ваш бродь, зачем это?

И двинул бородой на демонстрацию. Он не мог объять величия событий.

— Сочувствуют. Чтобы легче было кровь проливать...

Шеломин оглянулся. Это был Анютин. Шеломин покраснел.

На крыше электрической станции взвился белый пар. Завыл гудок. Аннушка, соборная кликуша, с детской головкой на скрюченном теле, напугалась, запричитала. В ее ясных глазах вспыхнул огромный свет.

— Господи, господи, господи... гряди, гряди, гряди... глас трубный...

— Пойдем, — сказал Анютин.

Он искал Шеломина. Они долго шли молча. Анютин ворочал тяжелые, чугунные брусья мысли. Сказал:

— Болтают, будто воевать хотите?

— Все равно студентов призовут, — ответил Шеломин. — Все говорят.

— Ну и дожидались бы... Али к нам в депо. Токарей нам надо. Точили ведь, малость...

Анютин взмахнул руками.

— Эх, это ты все из-за бабы! Знаем мы вас!

Сердце Шеломина метнулось, больно ударилось о ребра клетки, но тренированный мозг механически стал собирать чужие, газетные слова. Шеломин говорил о Бельгии, о проливах, о грядущем экономическом расцвете. Анютин мял черную, пропитанную смазкой, кепку, не был согласен и не знал, как быть с учеными словами. Вместо ответа спросил:

— Как же, модель-то лить?

— Нет уж, погоди... когда вернусь... Все равно, — вздохнул Шеломин.

Они дошли до калитки.

— Ну, до свиданья вам...

Анютин молча сжал руку, хотел сделать что-то для друга, сказать главное — потоптался и ушел, унося свою бессловесную правду. Кругом щурились ставнями домишки. У ворот мещанки лузгали семечки. Чиновник в фуражке с кокардой, в нижней рубашке и драных брючках, держал под мышкой два трехцветных флага, — третий, взобравшись на лесенку, привязывала босая баба. Девушка в розовом платочке показала на Анютина пальцем и прыснула.

— Вот дык кавалер!

Анютин запнулся в колее, снова отчаянно махнул руками и крикнул:

— Эх, пропадешь с тилигенцией!

Баба вздрогнула, выругалась: «Черт!», распустила юбку. Чиновник заглянул.

Шеломин не слышал.

Он занялся очень важным для него вопросом: удобно ли сегодня же воспользоваться приглашением Никольского или лучше «выдержать характер» до завтра? Тело казалось невесомым, жаждало движенья, все равно надо было куда-то пойти. В голубом домике ждала Надя. Размышляя, он стал бриться. Побрившись, подумал: «Если отложить до завтра»... на подбородке чуть-чуть проступили волосы.

Надя встретила его веселой суетой и улыбками.

— У-у, злюка! Не приходил. Ну, поссорились, ну и будет... Точно взаправду все.

Прямоугольный раздвижной стол был завален вишней. Попадья и реалисты вынимали, с помощью шпилек, вишневые косточки.

— А, Толичка! Давненько, давненько. Чайку не хотите ли? Кофею? — принялась угощать попадья, подвигая варенье, вишневое, малиновое, яблочное, смородиновое, липовый мед, сахар, пирожки, ватрушки, сдобнушки...

Сосунок запикал. Попадья вынула тяжелую, как на полотнах Рубенса, грудь... Нет, разве могли быть «взаправду» — Урамбо, выстрелы, жизнь — в этом жирном сахарном углу?! Все это — сказки, веселые и страшные, рассказанные старухой няней, в детской, при свете ночника.

Попадья и Наталья Андреевна шушукались, обсуждали, когда назначить обряд обрученья, какие печь пироги: с яблоками, с вишней, с мясом или курники?

Надя и Толя пошли в сад, на скамейку, — «посидеть».

Директор гимназии устроил для добровольцев, прежних своих питомцев, прощальный ужин. Было очень торжественно. За правым узким концом стола, как Саваоф, восседал законоучитель, о. Павел. Затем — городской голова, начальник гарнизона, председатель суда и прочие отцы города. На левой половине — молодежь. Директор занимал место посредине. Перед ним стоял винегрет в провансале, остальные ели поросенка с кашей. Директор говорил речь.

Директор преподавал историю, а потому начал с «яиц Леды». Он перечислил все германские города, бывшие когда-то славянскими, начиная с туманной северной Пруссии и удаляясь все дальше к югу, к благословенному Босфору и багдадской дороге. Там, в голубых водах аргонавтов и нимф, директор снова потонул в мифологии, возвышаясь, постепенно, до полумесяца над Ай Софией, где еще выше должен был воссиять крест. Но так как креста все еще не было, голубые воды аргонавтов превратились в мутные потоки философии, где, в колбах германских алхимиков, из Канта родился Крупп. Таким образом, необходимость уничтожения свирепых гуннов стала очевидной...

— Знайте же, — патетически закончил покровитель животных, — каждый из вас, вонзая штык в немецкое мясо, исполнит верховный нравственный закон, вечный, как звездное небо!...

Во время речи директора был съеден не только поросенок, но и рябчики и сливочный крем. Начальник гарнизона, представительнейший генерал, опрокинул последнюю рюмку поморанцевой и, под влиянием естественного подъема, провозгласил тост за здоровье обожаемого монарха.

Все встали и бодро трижды прокричали ура.

Тогда директор принялся за свой невинный винегрет в провансале.

Генерал все еще стоял, приподняв рюмку, прищурясь, залюбовавшись возвышающей картиной: направо — Саваоф, налево — Исааки, идущие на заклание, в центре — премудрый Авраам и потом он, генерал, выше еще генерал, и еще генерал и над всем — обожаемый!

Тост генерала был кстати. У обожаемого, в переименованной столице, в Петрограде, болел живот. Три бумажки о помиловании приговоренных к повешению были употреблены в дело. Он взывал к придворному святому; но святой был занят господом богом, т. е. любовью, и только к вечеру прислал рецепт: *«Ступай в баню с бабой»*.

По сродству душ, генерал ощутил вполне сходное побуждение и, насвистывая «Коль славен», покинул патристический пир. Саваоф, предпочитавший православную очищенную, хоть и запрещенную высочайше, по причине буйного мужицкого нрава, почувствовал настоящую потребность в свежем воздухе. Шеломин почтительно его поддерживал. Никольский икал, скидывал вверх бороду. В небе плясал огромный Юпитер.

— Ишь, немец, проклятый, опять шпионит!

— Что вы, папаша, до фронта тысячи три верст. Цепепины едва перелетают Ламанш...

— Кто его знает, Ламанш, — мотнул головой Никольский.

Шеломин, чтобы успокоить, повел его в гимназическую обсерваторию. Никольский заглянул в окуляр. Перед ним был круглый диск с полоской и четыре точки по сторонам. Точки соединились в линии. Никольский увидел немецкий котелок. Впрочем, Никольский ничего не сказал. Он почувствовал себя плохо и облегчился в лейденскую банку. Длинная веселая искра с треском кольнула, ослепив. Жуть подрала по коже.

— Ципилин! — закричал Никольский...

— Гимн, гимн! — кричали в директорском зале.

Шеломин не вернулся.

Через полчаса, в парке, у часовенки на месте убийства какого-то губернатора, он условился встретиться с Надей.

Была черная, ждущая разрядов, ночь. В небе — Млечный путь. Столетние березы шептались. Травы пахли степью, земля, мир — жаждой. Шеломину на мгновение стало жаль непоправимого. На спине духа зачесались растущие крылья. Он вспомнил свои одинокие вечера; но Надя пришла на четверть часа раньше.

Они шли прижавшись, стройные, оба почти одинакового роста, замерли у белого ствола. Шеломин летел в высоту, не видя и сгорая, как метеорит, от невыносимого стремления. Она была с ним, остальное стало безразличным... Французский посол телеграфировал в Париж. Смысл телеграммы был такой: «Vive la France! Денежки не пропали. Завтра русские войдут в Пруссию»... Земля представлялась Шеломину небольшой круглой гранатой. Он зарядил ее в двенадцатидюймовую пушку и выстрелил. Полет длился, входя в межзвездные пространства с огненным, сжигающим, светлым холодом. Время переставало, но сердце, почему-то, еще билось.

— Милый, — задыхалась Надя, — привези мне каску.

— Да, — прошептал Шеломин.

.....

Через неделю, вместо анализа бесконечно-малых, вместо температуры тел в межпланетном пространстве, вместо теории электронов и усовершенствованных двигателей, он зубрил:

— Для чего у штыка бывают выемки или долы?

— Чтобы легче было стекать крови!

7. Пси и чело́вецы.

Были великие битвы. Опустели деревни. Давно, в первом же бою, был убит крестьянин с большой черной бородой, не понимавший, кому нужна демонстрация с царским портретом и социал-демократом Орловым. Каждый день, во Франции, Бельгии, в Пруссии, Польше, Галиции, Сербии гибли многие тысячи мужиков и еще больше валялось по лазаретам, фабрикам калек. Благородные дамы получили новые военные развлечения и модные платья с красными крестами.

У газет был прекрасный тираж. Рабинович купил в рас-срочку телефон для переговоров с редакциями. Над его пись-менным столом, вделанное в бархатную рамку, красова-лось изречение знаменитого французского социалиста:

«Мы упали с облаков теории на землю, но
каждый из нас упал на свою родную землю и
почувствовал горячую потребность ее защищать».

Рабинович писал.

«...Пускай еще в плену бельгийцы,
Настанет время отомстить.
Грозой ужасною, убийцы,
Вам духа армий не сломить.
Настанет час — там, где железо
Тела дробит под рев гранат, —
Там Русский Гимн и Марсельеза
О мире Мира возвестят...»

Он старался писать крупным, размашистым — «русская тройка!» — почерком. Мир, конечно, должен был быть по-бедным. С рифмой, как с женщиной, нужно быть храбрым. Рабинович размахнулся: «Рубнем тевтона, шваба, шведа!» Шведский посланник долго сочинял протестующую ноту; но шведская нота не помешала сбыту патриотических стихов. Рабинович обсуждал вопрос о новой тройке и новых ботин-ках.

Веселый юрист Александров писал на фронт знако-мому корнету, что по пути в Петроград, на волжском паро-ходе, ему «без всяких обещаний» отдалась девушка-кур-систка, дочь учителя словесности. Этого никогда не могло бы случиться раньше.

Социал-демократ Орлов устроился в Министерстве Тор-говли и Промышленности.

Вообще, война имела свои преимущества. М-р Фелпс, фабрикант зеркального чугуна и ферромангана, владе-лец солидного количества акций, облигаций, сертификатов и

всеми уважаемой чековой книжки, выехал из Биарица в Лондон, экстренно вызвав других столь же почтенных джентльменов: Англия приняла деятельное участие в делах на континенте. Джентльмены собрались в кабинете м-ра Фелпса. М-р Фелпс стоял у окна, откуда можно было видеть Лордз Криккет Граунд, у м-ра Фелпса был ишиас, остальные сидели. Кабинет, джентльмены и сигары джентльменов были совершенно подобны тем, какие показывают в кино; но ни один кино не мог показать, о чем говорили и что постановили джентльмены. Джентльмены говорили — об увеличении производства и справедливом увеличении прибыли, во имя великих культурных целей; постановили — обратить внимание на марганцевые рудники Закавказья, ибо иначе за марганцем придется ездить в Чили. С этой целью: 1) настаивать на захвате проливов и на принудительной ликвидации германского и австрийского капитала в России, в первую очередь предприятий акционерной компании «Людвиг Кра и Шульце»; 2) уполномоченному, м-ру Грэди, телеграфировать инструкции; 3) русским обещать крест над Ай-Софией.

Германские армии шли к Парижу. Русские вторглись в Пруссию. В Турции был еще мир. На белых свечах минаретов, в самом пламени, пели муэдзины. Черное море, прекраснейшее из всех, было спокойное и голубое. Названия при моря — певучи: Иниада... Инеболи... Истифан...

М-р Грэди получил предписание остаться в Петрограде. Задачи м-ра Грэди были просты. Марганец должен был попасть в лапы британского стального синдиката. М-р Грэди был уверен в успехе и в процентах. Через два месяца м-р Грэди добился согласия на предоставление синдикату преимущественного права скупки находящихся в России предприятий австро-германской компании «Людвиг Кра и Шульце». Старший помощник начальника юрисконсультской части, Орлов, выдававший ему справку, из уважения к «просвещенным мореплавателям», суетился сверх меры. Он почти бегом помчался с бумагой на подпись. В коридоре м-р Грэди сунул ему четвертной. Социал-демократ стал краснее развесистой клюквы.

— Что делать, — извинялся англичанин, — мне сказали, здесь так полагается...

Старший помощник начальника юрисконсультской части промолчал. Он слишком дорожил своим местом, дававшим ему отсрочку призыва на военную службу.

В Петроград стекались сотни тысяч мужчин, искавших такой же отсрочки. Со стен домов исчезли зеленые наклейки о сдаче комнат... Студенты ночевали на вокзалах. Газеты печатали воззвания к дамам из «общества», стараясь ввести моду отдавать комнаты в безлюдных квартирах богачей. Жена директора завода, узнав, что Надя дочь священника, оглядела ее в лорнет и сказала:

— Хорошо, я возьму вас на испытание.

У Нади оказалась превосходная комната. На письменном столе стояла электрическая лампа с бронзовой статуэткой Афродиты под желтым абажуром. Дверь шкапа была зеркальной; мягкие кресла и диван — обиты гладкой, прохладной, коричневой кожей... Не хватало только английского языка и немецкой каски.

Надя разыскала м-ра Грэди, вспомнив его обещание. М-р Грэди очень обрадовался. С тех пор он постоянно стал доставать свою особую записную книжку. В России могли быть более удивительные приключения, чем в Африке. Решив, что министерского делопроизводства хватит на всю зиму, он, в свою очередь, стал учиться у Нади русскому языку. Они стали встречаться каждый день. Увидев англичанина, жена директора завода объявила своей квартирантке, что она может располагаться на всю зиму.

Раз в неделю Надя писала письма Толе Шеломину: о своей комнате, об успехах м-ра Грэди в деле с компанией «Людвиг Кра и Шульце», о жене директора завода. Ответные письма были пламенны и нежны.

...В комнате Нади не хватало только немецкой каски на туалетном столике. М-р Грэди, в кожаном кресле, в безу-

коризненном костюме, курил кэпстен. Завистливая бестужевка Вера Степанова разливала чай из блестящего никелированного самовара. Веселый Александров, в зеленом студенческом сюртучке, рассказывал анекдоты. Александров — поступления 1913 года, свято верил в свою звезду, в чертову дюжину, в то, что его не возьмут на войну. И, действительно, 1913 год, единственный в университете, не был призван. М-р Грэди молчал: русский язык был идиотски труден; но Надя оказалась строгой учительницей.

— М-р Грэди, почему вы не разговариваете? Вам нужна практика. Ведь вы можете немножко говорить по-русски?

— Да, я могу, нем-ножка говорю.

— Опять забыли спряжение!

— Я могу немножка го-во-рить! — поправился англичанин.

В глазах у Нади вдруг тысячи веселых искр.

— Ну, м-р Грэди, спрягайте мне новый глагол.

— Yes.

— Я Матрена...

Англичанин сморщился от неисчислимых окончаний...

«ю... ешь... ет...»

— Я матреню, ты матренешь, он матренет...

Александров прыснул из носа чай, подавился булкой.

Англичанин смутился.

«Ну, да-ем... ете... ют...»

— Мы матренем, вы матре-не-те...

«Что они смеются?...»

М-р Грэди на секунду задумался, потом решительно:

— Они, оне матренкают!

Надя повалилась на диван, задрогала ногами. Александров зашикал. М-р Грэди обиделся. Заговорил по-английски.

— М-р Грэди, милый, да ведь «Матрена» это... это женщина, имя!

«Ах какая, какая... ну погоди же!»

М-р Грэди потрогал в кармане бумажник и предложил:

— Пой-едем-те куда ни-будет.

— В Луна-Парк! — закричал Александров.

— В Люна-Парк,—подтвердил м-р Грэди.

Это было ему понятно...

По пути м-р Грэди рассказывал о южных странах. Над Петроградом навис черный туман. Сквозь туман английских слов, ослепляя, сверкало солнце. Сверкали воды великих рек. Пьяными запахами испарялись бесчисленные растения. Огромный слон раздвинул заросли... И вдруг поднял двухтонную пядь над головой Толи Шеломина.

Русские отступали в леса. Шеломин, со своим взводом, был в сторожевом охранении. Была золотая осень.

Шеломин лежал на спине, положив под голову руки, смотрел в голубое небо, на золотые деревья в голубом. В холодном неподвижном воздухе пели пули — далекие и нестрашные... Или, может быть, не пули вовсе, — а высоко поет под сурдинку невидимая скрипка чистую детскую мелодию, может быть, «Жаворонка» Глинки... Может быть... После бессонных ночей, после чудовищных походов, сознание спит. Это так только, для виду, открыты глаза... Впрочем, если бы, как прежде, помнить все, голова давно бы сгорела от невыносимых образов.

— Война сделала из меня зверя, — говорил, улыбаясь, ротный командир, — только не надо об этом думать.

Главное — не надо думать.

Давно нет ни добра, ни зла. Есть видения, ругательства и песни.. Солдаты грязные и сильные. И странно вспоминать о днях мысли среди бессмысленной жизни этих механических тел.

Когда подъехал казак-вестовой и вдруг упал, — задел смычок невидимой скрипки, — к золотой осени и голубому небу прибавилось немного красной краски. Только немного краски.

Иногда были письма. Часто Шеломин подолгу не разрывал розовых, сине-серых и белых конвертов: так странно

было читать. Письма матери были тревогой. О чем? Разве можно бояться, дойдя до пределов, ведомых ему? Шеломин улыбался. Отвечая, тщательно подбирая слова, проводил долгие часы, изобретая светлую успокоительную ложь. Письма Нади, спокойные, эпические, о каких-то мелочах, были на самом деле, музыкой, Лунной сонатой. С ними, как с невидимой скрипкой, хорошо грезить, исчезать в светозарных, тончайших лучах... Письма товарищей были редки. Петя Правдин добросовестно писал об университете, о сходках, о фараонах, неизменно украшавших простенки окон длиннейшего коридора, о призыве первокурсников и о своем намерении поступить в какое-нибудь военно-техническое училище, с самым продолжительным курсом, чтобы соединить «приятное с полезным». Только раз письмо пьянчуги Рубанова, его славного тезки, смутно и мучительно взволновало Шеломина. Письмо было измазано военной цензурой. Все же Шеломин разобрал, что резолюции немецких социал-демократов доконали беднягу. В штабе справлялись о его благонадежности...

— Das Kapital... — скороговоркой напомнил услужливый гномик, в далекой полутемной клеточке мозга...

У мертвого казака приказ — в окоп. Слова команды, как ругань. Шеломин шел нагнувшись. За ним, друг за другом, сороконожкой — взвод. Поблекшие травы хранили чистые брызги. Взрывы стали ближе. Поле — стальное и сияющее. Его мелкая жизнь однообразно катилась мимо. Невидимый смычок затрепетал, озлился. Вдруг, очень близко:

— Тью-у!...

Это она, знакомая, распущенная старуха — смерть. Шеломин видит: под кустом орешника большая тощая собака грызет полусгнивший труп. Шеломин выстрелил, собака исчезла. А в мозгу застряло. Откуда это?

«Благословенно господне имя!

Пси и человецы

Единое в свирепстве и уме»...

И долго в пустой голове выстукивал кровавый пульс:

— Пси и человецы... пси и человецы... единое...
На войне к нему часто привязывалось что-нибудь.

.....

Стертые ноги должны двигаться. Их не забудешь. В окопе, в жидкой грязи, в тяжелых сапогах чокает грязная теплая сырость. И опять надо двигаться, чтобы не застыть. В сраженьи, когда плоти нет, когда до боли накаляются винтовки, — легче.

Немцы сделали ленивую попытку перейти в наступление. Не выдержали и притаились. Между линиями осталось шестнадцать мертвых. Один — в каске.

Тогда Шеломин вспомнил: полковник обещал командировку в Петроград; а каски все еще нет.

«Надо самому достать. Не покупать же!»

Шеломин подошел к пулеметчику, рябому татарину. Как всегда, грубо и бодро, сказал:

— Крой, Акчембетов! Чтоб ни один черт носу не высунул!

А сам, не думая, — главное, не думать, — под колючую проволоку.

Быстр ветер пулемета.

— В-в-в-в-в...в!

И смолк.

Хороший Акчембетов первый номер, лучше не найти; а вдруг вот «максимка» — бах, бах и застрял. Никогда такого не бывало.

— Ах ана..! — смотрит Якчембетов, вдоль дула — тонкая, тонкая трещина.

Это был один из пулеметов м-ра Грэди.

— «Пси и человецы... пси и человецы... единое...»

—

М-р Грэди, Надя, Александров и Вера, за узорным столиком, ели необыкновенные блюда, пили вино. Кружились головы. Слушали, не слыша, шансонетки, смотрели на танцовщиц, англичанин восклицал: «Hash!» и «by Jove!»

Александров спрашивал:

— Мистер, вы умеете выражаться по-русски?

Англичанин отвечал.

— Да, нем-ножка.

Потом катались по «американским горам», падали, теряя вес, Надя кричала. М-р Грэди увлек ее в «замок ужасов», где вращались стены, кривились зеркала, проваливался пол и, наконец, невидимый пропеллер поднял Надину юбку.

— Ну, этот номер чересчур американский! — заявила она.

— Чересчур американский! — ликовал м-р Грэди.

Он успел заметить длинные черные чулки с тесемочками и розовую гладкую кожу выше колен.

У выхода пьяный ободранный студент протянул руку. М-р Грэди сказал: «Пшел!» Надя узнала студента и, закрывшись улыбками, попросила: «Give him, please...» Англичанин дал двугривенный. Потухшие глаза бродяги блеснули страстью и гневом. Это был Анатолий Рубанов.

М-р Грэди отвез сначала Веру и Александрова, потом держал мягкую Надину руку и наслаждался тем, что, без всякого риска быть понятым, говорил девушке такие вещи, каких не говорил даже Бетси. Надя смутно волновалась и ждала. М-р Грэди решил сделать предложение. Это было безопаснее, чем даже в Африке: он объяснит ей, что такое «свитхарт».

«*Какие чудесные, полные ноги!*» — записал он в своей особой записной книжке.

На другой день Надя была у Веры Степановой.

— Милая, — сказала она, — напиши мне письмо. Я не могу.

И села, покраснев.

— Кому же?

— Толе.

Отец Веры был преподавателем словесности. Она славилась всякого рода литературными произведениями.

М-р Грэди обещал подарить Наде каску.

Шеломин взял каску и, почти выпрямившись, радостный, пошел назад.

Поздней осенью, в полях, воздух чистый, холодный и влажный. Вдруг воздух стал жестким, застрял в груди...

Вольноопределяющийся Фишер из Гейдельберга, математик, мечтавший, как Шеломин, использовать внутриатомную энергию, с такими же серыми точными глазами, внимательно следил, поверх мушки, за ползшим вперед русским. Он долго не спускал курка, удивляясь слишком бессмысленной храбрости. Русский подполз к трупам его товарища...

«Скоро они станут охотиться за скальпами», — с ненавистью подумал немец.

Он твердо навел дуло между лопаток врага, там, где русские шинели загибаются в складки, и выстрелил.

Шеломин запнулся, упал ничком... Ах, как быстро темнеет поздней осенью!

8. Предел α в степени x .

Лес на востоке все ниже уходил от апельсина луны. Было тихо. Лишь иногда, редко-редко, грохал пулемет. Шеломин легко встал. Ноги больше не болели. Как будто кругом не изломанный снарядами лес, а старый знакомый парк. Близкий окоп исчез. Шеломин заблудился. Тогда он отыскал Полярную звезду и пошел направо.

Ночь была прекрасна. Он шел сквозь перелески, лунные поляны, взбирался на холмы. Потом он увидел много

светлых огней, вышел на дорогу и скоро попал в маленький прифронтный городок.

Ополченец с большой черной бородой заметил кровь на плече Шеломина и, подойдя, ласково сказал:

— А вона лизарет, вашбродь.

И двинул бородой на самый большой каменный светлый дом.

Шеломина встретил знакомый полковой врач — Никитин.

— Что, ранены? — еще ласковее спросил он. — А для вас у меня — сюрприз!... Нет, сперва пойдем посмотрим, что у вас там... Так... Пустяки. Плечо навылет.

В перевязочной радостно пахло чистотой.

Совсем не больно.

Горячая ванна, тугая перевязка со скрипучей белоснежной ватой, чистое белье и сверху мягкий коричневый халат из верблюжьей шерсти.

— Как хорошо!

Как будто снова, навсегда вернулся настоящий культурный мир, с книгами, лабораториями, лекциями...

У окна, отвернувшись, в белом халате и белом платке, стояла высокая девушка.

— Сестра, примите нового больного, — весело окликнул ее Никитин.

— А-а!

— Толя!

— Надя!

Как радостно поцеловаться при всех.

— Я знал, что ты приедешь. Разве можно оставаться там!... Ты потому так долго не писала?

— Милый!

— Он может побыть в вашей комнате, — сказал Никитин, в последний раз взглянув своими добрыми голубыми глазами...

И они уже вместе, в маленькой белой комнатке, вместе, обнявшись, сидят на ее чистой кровати. Рядом — туалетный столик.

— Вот, — сказал Шеломин и положил на него каску.

Она была прострелена трехлинейной пулей. Кровь, оттаявшая, сочилась на белую скатерку.

...Легко и страшно высоко поднимаются розовые волны страсти. И нет, нет исхода слишком высоким гребням, разве только — смерть. На дне — красные губы, красный жемчуг.

— Почему, Надя, я такой легкий и все, как будто, не так, как всегда? И счастье мое — великое и особенное, все же не то, каким должно было быть? Или я так устал с фронта?

В ее прекрасных глазах вспыхнул тот, безумный, свет кликуши.

— Разве только ты один не знаешь, что какое-то могучее влияние проникло душу каждого и все достоверно узнали о приближении Иного Мира?

Шеломин невольно, ласково, положил руку на ее голову. Впрочем, это ничего. Ведь она — верит. Это пройдет.

— Пусть раздастся Трубный Глас! Кто встретит смерть с любовью, тот будет жить... Целуй же, целуй меня больше!

...Все же, несомненно, в мир вошло необычайное. Все торопились. Времени оставалось мало. Союзники торопились уничтожить немцев, немцы союзников. Ставка стягивала резервы. Внезапный чрезмерный грохот, иной, чем во время прошедших битв, потряс стены.

Шеломин, повинувшись непреодолимой повелительной привычке войны, быстро вышел в коридор, потом на террасу. Был блеклый рассвет. До горизонта тянулось ровное черное поле. Вокруг было очень много солдат. И, казалось, все они были одинаковые, — гиганты с черными бородами, все стояли молча, плечо к плечу и залпами, без команды, стреляли вверх.

...А там, по самому горизонту, Шеломин ясно видел, мчался он, чудовищный враг, Урамбо! Вдруг он взметнул свой шаг вперед. Серое небо — вовсе не дождь, не туман, а гладкая поверхность блестящей марганцевой стали.

— «Зачем», — подумал Шеломин, — «выемки по бокам?»

И невидимый сосед ответил:

— Выемки или долы, чтобы легче было стекать крови!

— Разумеется.

Шеломин вскинул винтовку и выстрелил.

— Зачем ты стрелял? Разве ты полицейский?

Рядом стояла Надя.

— Беги! — крикнул Шеломин.

— Ну-г-г-г-г-г-ah! — заревело, колеблясь, стальное небо.

— Ррр-рр-рах!

— Ях!

— Беги!

...Поздно. В грохоте настала тьма и после грохота — тяжесть. Воздух свинцовый, черный, входил в грудь под страшным давлением.

— Если предел x равен нулю, то чему равняется предел a в степени x ?

Предел a в степени x — это он, Шеломин!

«Чему равняется?.. чему равняется?..»

Внезапно в темноте слабо блеснула боль.

Шеломин повернулся, поднял плечом стальное небо.

Боль вспыхнула огромным желтым пламенем.

— Единице! — крикнул он и сдвинул влажные от ужаса веки.

Прямо в его лицо, сквозь мглу, смотрело желтое солнце.

Он лежал на прежнем месте. Длинные сухие травы покрылись инеем.

Шеломин понял.

И понял он гораздо больше, чем сумел бы выразить словами. Его сумеречный мозг вспыхнул в последний раз и, как проекционный фонарь, отбросил на темнеющий экран небосвода — марганец м-ра Грэди, Урамбо, директора гимназии, лейденскую банку, глупенькую лучезарную Надину головку и то, что он ее больше не увидит...

Шеломин вздрогнул, хотел подняться — упал, подавленный страданием.

Солнце мучило его глаза.

Тогда он отхаркнул кровь и, собрав последние силы, плюнул в это проклятое жизнедарящее солнце. Оно запенилось, зашипело и потухло навсегда.

Черная каска валялась рядом.

9. Божье слово.

М-р Грэди телеграфировал синдикату:

«Марганец наш. Выезжаю».

Надя получила каску, аккуратно пробитую трехлинейной пулей, слегка попорченную кровью, но вполне продезинфицированную. Каска лежала на туалетном столике. Надя лежала на кровати в голубой пижаме, м-р Грэди — в полосатой.

Труп Шеломина лежал на полу, под рогожей, в избе, где помещался околоток.

Санитар подал розовый конвертик.

— Его благородию, — кивнул он. — С первой роты.

Врач, несколько полный блондин, с усталыми голубыми глазами, разорвал конвертик. Он хотел узнать адрес близких молодого офицера, сберечь для них труп.

Письмо было переписано набело, без единой пометки, ровным старательным почерком. Мелькали ровные фразы. Санитар докладывал:

— Гуси эта летели. И откуда взялись!..

«Прости... Долго не писала, потому что не было сил...»

— Ну, тут наши палить, немец палить, гусь-то и упал промежду окопов...

«Не считай меня своей... Я знаю, это для тебя большое горе, но иначе не могу...»

— Ну, тут наши лезут и немцы лезут. Человек с десять, знать, подстрелили...

«Желаю тебе счастья... Твой друг...»

— Ну, все же, гуся наши зажарили!

Врач опустил руку, медленно смял бумагу, бросил в помойное ведро с кровавыми отбросами, распорядился:

— В братскую.

Через месяц, во второй раз, в газетах появилось имя Шеломина. На этот раз позади текста, петитом, цифрой в числе потерь.

Директор с гордостью сказал:

— Смертью храбрых!

Наталья Андреевна не сообразила. Наталья Андреевна ждет, пишет трепетные материнские письма, раскладывает пасьянс «Государственная дума», строгая, сосредоточенная, восковая, думает: «Если сойдется, значит, Толичка вернется». Пасьянс не сходится. Тогда быстро-быстро, озираясь, она достает нужную карту, радуется, что никто не заметил. На восковом лице выступает дуновение румянца.

Анютин купил свечку, хотел поставить перед угодником. Не знал, как еще почтить память о друге; но вспомнил поппа Никольского и плюнул. Свечка растаяла в его черной от чугуна и мазута руке.

Никольский стал часто заходить к Наталье Андреевне. Он напутствует, присматривается к домику...

Возвращаясь, Никольский, по привычке, бормочет:

— Недолго проскрипит старушенция, недолго...

И ясно улыбается.

Надгробная речь была на братской могиле.

Перед отпеванием, корявый ратник, рыбак из-под Колываи на Оби, с потрескавшейся, ромбами, как у слона, шеей, прилаживал крест, думал, когда наконец выпустят его из чертовой Польши и, чтобы скорее шла работа, непрерывно ругался.

Дьячок, вятский, лениво останавливал:

— Чо выражаешься? Здесь убиенные, а ты...

Ратник бросил топор, открыл рот, утерся.

— Да рази это матеряк? — искренне удивился он. — Вот если там, примером, в душу... А то это так только, божье слово.

ВЛАСТЬ

Представление в одном действии

Зал в центре дворца. Неизъяснимый сильный свет. Великолепие. На стенах фрески и портреты старинных королей и придворных. Резким контрастом к ним, за большим столом, очевидно принесенным из другой комнаты, одетые в черные сюртуки и фраки, совещаются министры. Все они находятся под влиянием доклада Премьера, каждый по-своему выражая скрытое волнение. М и н и с т р ф и н а н с о в олицетворяет мыслителя, взявшегося за неразрешимую проблему. М и н и с т р ю с т и ц и и то берет со стола свой портфель, как будто бы вот-вот собирается уйти, то опять кладет обратно. Только П р е м ь е р, высокий седой старик, сохраняет на каменном лице невозмутимое спокойствие. С е к р е т а р ь сидит в стороне, иногда что-то записывает, но чаще ничего не слушает и вздыхает.

П р е м ь е р... На этом, джентльмены, я окончу свой доклад. *(Медленно собирает разбросанные на столе документы и заметки, складывая в портфель. Молчание).*

М и н . ф и н а н с о в. Итак, надежды нет.

П р е м ь е р. Да. Армии больше нет. *(Молчание).*

М и н и с т р ю с т и ц и и. Теперь, надеюсь, вы вспомните то время, когда я, один против всех, защищал монарха... О, то была власть!.. Пусть преступная, пусть жестокая, но — власть... пред которой трепетала эта, царящая теперь нечисть. То было нечто безусловное, рожденное веками в народной вере, как святость, как справедливость!.. *(Встает).* В последний раз я обращаюсь к вашему разуму и предлагаю мой единственный выход, единственное спасение...

М и н . ф и н а н с о в. Fiat justitia, pereat mundi! Так, так... Но будет слов. Во-первых — на этот трон дурака не найти, а во-вторых — золота, все равно, не прибавить. А власть — золото!

М и н и с т р ю с т и ц и и. Так что же? — Опять ждать?.. Чего?.. Должны же мы понять, что красная чума опаснее всех зараз. С чумой можно бороться, лишь сжигая зараженных животных! *(Молчание).* Враги занимают за зданием здание. Только еще сюда, во власти неисчезнувшего очарования, они не осмеливаются проникнуть. А мы, вместо то-

го, чтобы действовать решительно, — управляем дворцовой стражей, которая, быть может, нас завтра выдаст!..

П р е м ь е р (*с едва уловимым оттенком насмешки*). Сегодня ночью. У меня есть неопровержимые данные, доказывающие, что сегодня ночью они предпримут решительный штурм дворца.

М и н и с т р ю с т и ц и и. Сегодня ночью! Может быть, сейчас... Небо! (*Почти истерично*). Так что же вы молчите? Где же выход?.. Выход!..

М и н. ф и н а н с о в (*Премьеру*). Потерять дворец — потерять власть!

П р е м ь е р (*поднимая голову*). Я — предлагаю мир.

М и н. ю с т и ц и и. Мир?!

М и н. ф и н а н с о в. Мир с кем?

П р е м ь е р. С «товарищем Петром».

С е к р е т а р ь (*очнувшись, пододвигается к ошеломленному министру юстиции*). Пьер! Наконец, я опоздаю! Смотри: темно... Я говорил тебе, — ты помнишь?.. та нежная, как сон, мечта моя, — сегодня у меня с ней первое свидание. Кончай же как-нибудь и выручай! Клянусь тебе — услуга за услугу...

М и н. ю с т и ц и и (*отмахиваясь*). Какие там любви и незнакомки!

С е к р е т а р ь (*удивленно*). А — серьезно разве?

М и н. ф и н а н с о в (*Премьеру*). Какие шутки!

П р е м ь е р. Что, испугались?.. ха-ха ха! (*Внезапно встает, изменившийся, бледный, с огромной силой говорит*). Да, — я предлагаю мир с вождями бродяг и черни! Лишь слепые еще не могут разглядеть, что власти нет и быть не может иной, чем всепоглощающая вера в их сладкий обман, в их сказку и евангелие, что светлый рай снова будет здесь, здесь на земле, рождающей из черной грязи смешанный с кровью хлеб. Стоит только беднякам самим взять власть в свои руки! Власть! Ведь они думают, что ее действительно можно «взять»... Но они верят! Больше, чем в бога!.. Я видел, каким огнем горели их глаза, когда, словно проповедь Иисуса, они ловили пустые фразы... Да, это сила! Великолепие королей, орган, то едва слышный, то ог-

ромный, как облачное небо, гипноз латыни и золотое распятие, и золотой огонь, — ничто пред их кровавым стягом, превращающим толпу бродяг в самую дисциплинированную армию мира!.. С нашей стороны было бы непростительной ошибкой, в такое время, не использовать эту силу. Мы должны и можем повернуть ее в свое русло... Я убежден, вовсе не только нам. но и каждому из этих трех главарей совершенно ясно, что легко лишь обещать, что каждый раз, когда они на самом деле представляют себе «захват власти», они дрожат и пугаются, как беспомощные дети. (*С невольным благоговением*). О, государственная власть — не власть бандитов над своей шайкой!.. Так почему бы не сговориться? Пусть царствует их босяцкий совет, пусть царствует, но — как король английский — не управляет. Они для масс будут знаменем, красной тряпкой, фетишем, сказочным Иваном Царевичем, — словом, заполнят пустоту, образовавшуюся после падения монархии. Да, будут новые слова, новые законы, новые идолы... но управлять государством будем — мы, как прежде, как всегда. Может быть, пожалуй, на новую приманку потребуются больше денег, но зато, говорю вам, никогда еще в наших руках не будет такого послушного народа, такого небывалого могущества...

М и н. ф и н а н с о в (*возбужденно*). Но согласятся ли они?!

П р е м ь е р. Я говорил, я убежден, что главари сами пойдут навстречу. Конечно, здесь необходимо искусство и я прошу уполномочить меня единолично...

М и н. ю с т и ц и и (*внезапно поняв все*). Я согласен! Мир!

С е к р е т а р ь. Мир? Я могу теперь идти?.. Высокое собрание окончилось?

П р е м ь е р. Прошу вас, джентльмены, удалиться всем и ждать моих распоряжений. (*Делает вид, что кланяется*). Спокойной ночи.

Министры уходят: в дверях слышны восклицанья: «Он сможет!» ... «Уступят!» ... «Я убежден!»

Секретарь. Я протокол представлю завтра. *(Напевает)*. Мечта моя!.. *(Уходит)*.

Премьер *(подходит к огромному окну, всматриваясь в мрак)*... Какая ночь! И каждый раз все глуше...

Тишина. Молчание Изредка долетают глухие отголоски выстрелов. Усилием воли стряхнув влияние ночи, Премьер подходит к аппарату. Раздается тихое ответное гуденье.

Премьер. Старые казармы? Мне нужно... председателя Революционного Совета.

Голос. Кто говорит?

Премьер. Дворец. *(Молчание)*.

Голос. Я жду.

Премьер. Я уполномочен правительством страны... вступить с вами в переговоры о создании новой власти. Я искренне надеюсь, во имя блага родины, вы сумеете подавить в себе ненужные волнения и придете переговорить со мной. Я буду ждать вас во дворце и я ручаюсь...

Голос *(перебивая)*. Как! Я должен прийти во дворец? Какое счастье!.. Однако, я принужден разочаровать вас. Совет предвидел, что вы «запросите пардону» и обсуждал этот вопрос. Мы постановили не вступать ни в какие переговоры, пока берлоги королевской дворни все еще полны наемниками. Вам, конечно, должно быть известно, что постановления Совета я изменить не могу. «Честь имею кланяться», как говорится в порядочном обществе.

Премьер *(быстро)*. Одну минуту. Ваши условия?.. Какие бы они ни были!

Голос. Ах, вот как?.. Хорошо. — Сегодня же дворцовая стража должна быть распущена. Сейчас же! Охрану примут наши войска.

Премьер *(невольно придерживая рукой сердце)*. Ах вот как... *(Молчание; потом громко)*. Хорошо. Я согласен.

Голос. Согласны? Вы!.. *(Молчание)*. Что ж, вы — благодарумы: итог ведь все равно был бы таким же... но вы

сохраняете нам несколько сотен жизней; поэтому, если вы не кривите душой, я первый подам вам руку.

Премьер. Я отдаю приказ.

Голос. Буду верить... До свиданья.

Премьер (*выключая ток*). Негодяи! (*Подходит к другому аппарату*). Дежурный? Немедленно ко мне начальника стражи. Какой ваш номер? Вы отвечаете за каждую минуту... Так... (*Встает*). Мы еще посмотрим!.. (*Странно внимательно осматривает дворцовую залу; останавливается на старинном портрете прекрасной аристократки*). В ее глаза заглянет чернь!.. И будет хохотать над обнаженной грудью и... нет, лучше... (*идет к портрету*).

Входит Начальник Стражи.

Премьер. А!.. Мой милый Гарри. (*Идет навстречу. Жмут руки*). Плохие времена. (*Молчание*). Как долго мы можем продержаться?

Нач. стражи. Их больше в десять раз.

Премьер. Да, да... Я знаю... Гарри, ты мне веришь?

Нач. стражи. Какой вопрос!

Премьер. Прости. (*Колеблется*)... Так значит, нам не выдержать?

Нач. стражи. Я говорил... (*Молчание*).

Премьер (*громко*). Так сейчас же сними все посты и заставы! Сложи все оружие в арсенал и скажи солдатам, что армии больше нет. Пусть идут к своим бабам!.. Но офицеры... Офицеры тоже пусть разойдутся, но не теряют связи.

Нач. стражи (*темнея*). Значит... — на милость?.. Без боя!

Премьер. Гарри! Я думал, ты мне веришь... С твоими солдатами ничего не сделать. Солдат больше у них. (*Подходит ближе*). Слушай... Отбери самых надежных людей. Пусть бегут во все кварталы с вестью, что дворец взят! Дай им бутылки с лучшим вином: пусть всем рассказывают, что взяли его здесь. Дай им золота — лучше всего те безобразные золотые блюда, на которых подданные приносили «хлеб-

соль». Дай им жемчуга и драгоценных камней, — пусть горланят: «Во дворец, кто хочет получить что-нибудь, пока Совет не поделил между собой остатки!..»

Н а ч. с т р а ж и. Но ведь сюда ворвется эта... сволочь!

П р е м ь е р (*взглядывает ему в глаза; начальник стражи каменеет*). Ты понял?.. Скорее, Гарри!

Н а ч. с т р а ж и. Мой долг повиноваться. (*Уходит*).

Слева, в нише, отделенной странным экраном и тяжелой тканью, появляется Э л е н и С е к р е т а р ь.

С е к р е т а р ь. Мечта моя!

Э л е н. Нет, нет! Только не теперь: муж ищет меня по всем комнатам. Я должна его успокоить. Я скажу, что я уезжаю к княгине Вере. Тогда, ровно в двенадцать, мы встретимся снова. И мы будем совсем, совсем одни... — да? (*протягивает руку для поцелуя*).

С е к р е т а р ь. Мечта моя!.. (*Уходят*).

Премьер медленно идет к рабочему столу, берет перо и задумывается. Молчание. В глубине сцены проходят Э л е н и М и н и с т р ю с т и ц и и.

Э л е н. Пьер, как ты не можешь понять, что мне страшно! Весь низ полон солдат, они требуют вина и, представь себе, им дают сколько угодно...

М и н. ю с т и ц и и (*замечает Премьера*). Ч-ш-ш! (Молчание).

В раскрытые двери входят П е т р и несколько солдат, или вооруженных рабочих. Внезапно останавливаются, подавленные великолепием. Петр медленно идет вперед, поглядывая на изумительные фрески и портреты, на темные мраморные колонны и покрывающий весь пол темно-красный ковер, где совершенно тонут удары его солдатских сапог. Премьер, заметив врага, слегка вздрагивает, но, быстро овладев собой, идет навстречу.

П р е м ь е р (*любезно*). Так скоро?

П е т р (*очнувшись*). Да... «на плечах врагов», как говорится в газетах.

П р е м ь е р. Надеюсь, «враги» не причинили вам на этот раз неприятности?

П е т р. Нет, вы точно выполнили все. (*Протягивает руку*). О чем же мы будем говорить с вами, господин министр?

П р е м ь е р. Полагаю — тема ясна. В первый раз в истории Мира мы говорим, как равный с равным... И мы нашли, что для создания твердой власти будет справедливо привлечь вас к участию в управлении страной... Я думаю, с вами мне не придется говорить обычным языком. Скажите просто, сколько мест в будущем министерстве просит ваша партия?

П е т р. О, — ни одного! Боюсь, у нас другая справедливость: никаких нам мест и министерств не надо. Власть — трудящимся!..

П р е м ь е р. Безумие! Я знал, но я не верил и теперь не верю, что вы можете серьезно исповедовать вашу программу... Программа есть программа. Народ, как ребенок, любит звонкие побрякушки; — но государственная власть...

П е т р. Довольно, господин министр. Убеждать друга нам бесполезно... А торговаться...

П р е м ь е р (*перебивая*). Я знаю только ту великую ответственность, какая лежит на вас и великую, убивающую меня горечь, когда я думаю о судьбе государства!

П е т р. Жандармов, может быть, и тюрем?

П р е м ь е р. Сейчас вы не оскорбите меня, молодой человек. Нет. Мне все равно. Не дорога, для старого калек, жизнь!.. Но вы, став на грань власти, должны понять, что в тот же миг, как вы объявите свой сброд владыкой, сувереном, он ринется сюда и уничтожит все: культуру, радость творчества, науку. Он променяет на еду позолоту вот этих рам, а из картин нарвет портянки, счистив краску.

П е т р (*вздрагивая*). А кто, кто сделал его таким? Вы трусите его стихийной мести!

Премьер. Я — не боюсь. Я уйду из мира. Вы должны бояться! Вам надо будет жить в пустоте разрушения, если вы позволите разграбить дворец!

Петр (*с внезапным состраданием*). Ну, ну... — успокойтесь. Никто, ведь, не собирается грабить. Ни одной безделушки мы не сдвинем в этом... музее. (*Неожиданно*). А правда, говорят, подвалы дворца полны взрывчатыми веществами?

Премьер. Да, там, под правой башней, есть запасы.

Петр. Под правой башней...

Премьер. А если бы чернь захотела вернуть то, что, по вашим словам — «ей же создано»? Ведь вы об этом кричали на каждой площади! . Ваша стража стала бы стрелять... в народ?

Петр. Оставим это. Я жалею что...

Премьер. Оставим? Нет! Скажите, — вы говорили им, что дворец уже взят?

Петр. Что же вы думаете, что мы будем из победы делать тайну?... Но — прощайте; я жалею, что заставил вас волноваться. Повторяю, Революционный Совет не забудет, что в последнюю минуту вы, мне все равно из за каких побуждений, спасли сотни солдатских жизней.. Крови было без того довольно... Прощайте! (*Хочет идти*).

Премьер. Куда вы? Они убьют вас!

Петр. Очнитесь же!.. Я вам пришлю врача.

Премьер. Нет, — вы очнитесь! Вам надо лечиться — от слепоты... Смотрите!

Быстрым движением гасит свет. Вверху горит слабый зелено-вато-голубой фонарь. В центре сцены, на перламутровом экране, появляются очертания дворца-

Петр. Что это?

Премьер. Экран.

Петр. Дворец!.. Внизу двигаются люди... Опять какой-нибудь обман!

Премьер. Наука... Слушайте!

Молчание. Вдруг, как бы из-за экрана, раздаются ясные, несколько неестественные г о л о с а.

— Взяли, а нам не дают.

— На всех не хватит. Сами хотят поделить.

— Ну, уж нет!.. А много там солдат?

— Мало. Половина пьяные.

— Пьяные! У них настоящее вино?

— Вино?!

— Да еще какое! Я видел одну бутылку. Она была липкая и холодная, а внутри — желтый огонь. Во мне так все и перевернулось. Ее шейка была серебряная и надпись золотая — точно невеста! Самые мудрые монахи выдумали это вино... Я монахи знают толк!

— Ты пил, что ли?

— В том-то и дело!

Молчание.

— Все-таки нехорошо пить вино... И когда я об этом подумаю, что вся моя жизнь пропала из-за вина, становится так скучно и тошно, что поневоле пойдешь в кабак. Но вот горе! — Совет закрыл все кабаки. И зачем это им столько вина?

— А много его?

— Бочки! Тысячи бочек!

— А еще что?

— Ого!

Молчание. Двигаются быстрее.

— После вина делается так хорошо. Я видел в окне девушку. Она не как наши. Это, вероятно, принцесса.

— Дурак! Принцессе отрубили голову.

— И королю. *(Исчезают в темноте у стен дворца).*

В освещенном пространстве, в лучах, падающих из окон, появляется темная, фантастично-вооруженная толпа. Впереди высокий

человек с обнаженной головой. В левой руке — знамя, кажущееся черным. Вдруг раздается несколько выстрелов.

П е т р. Слышите? На самом деле — выстрелы!

П р е м ь е р. Это — ваши... «народные»... Смотрите!

П ь я н и ц а (*вбегают, задыхаясь, замечает кровь на рукаве*). Стреляют!

П р е д в о д и т е л ь. Слышите?! Ваш «товарищ Петр», он же — жид Фишер, изменил народу: его наемники стреляют в народ! Долой Петра!

В т о л п е. Долой!.. Долой!..

П р е д в о д и т е л ь. Мы сами себе избавители! Мы сами себе — Мессия! Зачем нам вожди, которые хотят только власти, чтобы душить нас? Вы видели — он стрелял в народ! Но мы не испугаемся тебя, предатель! Мы еще обольем смолой твою черную харю!

В т о л п е. Верно!.. Мы сами!... Да!.. Вперед!... Смерть!..

П р е д в о д и т е л ь. Вперед!

П ь я н и ц а (*хнычет*). Нет, я лучше пото-ом.

П р е д в о д и т е л ь. Ну!

П ь я н и ц а (*хнычет*).

П р е д в о д и т е л ь. Нам не надо изменников; но еще хуже бабье и трусы. Выбросить его в канаву!

Двое, стоящие рядом с Предводителем, быстро отделяются на глазах загипнотизированной толпы.

П ь я н и ц а (*внезапно*). Хорошо!.. но по закону вы должны сперва дать мне одну бутылочку. Когда меня хотели вешать королевские слуги, меня славно напоили.

Двое схватывают пьяницу и поднимают над перилами.

Пьяница (*цепляясь*). Зачем вы взяли меня из тюрьмы? Там бы меня славно напоили.

Предводитель. Ну!

Пьяница (*кричит*). Только одну буты-ыл!..

Тяжелый всплеск.

П р е д в о д и т е л ь. Видели! То, что я вам дам, стоит не одной, а миллионов жизней. Я дам вам — власть. Власть народа! Верьте мне: во все времена счастливы были только те, кто умел брать, а те, кто ждал, что им дадут — оставались нищими. Вы — нищие! Вы жрете шелуху картошки, у вас только бумажные деньги, на которые, кроме женщин, ничего не купишь, а во дворце — золото!

В т о л п е. Золото!

П р е д в о д и т е л ь. Всемогущее золото!

В т о л п е. Все тарелки золотые!

— И ложки!

П р е д в о д и т е л ь. Весь дворец золотой!

В т о л п е. Весь дворец!

П р е д в о д и т е л ь. И — золотое вино!

В т о л п е. Вино! о-о-о-о!

П р е д в о д и т е л ь. За мной, все страждущие, трудящиеся и обремененные! За мной.

Крики. Экзальтация. Движение. Рев... Премьер включает свет. Видения исчезают.

П р е м ь е р. Ну... что?

Тишина.

П е т р. Ложь! Все ложь! (*Быстро идет к выходу*).

П р е м ь е р. Так спешите вложить ваши персты в еще свежие раны. (*Беззвучно смеется*)... Молокососы!

Входят, сталкиваясь с Петром, два других члена Революционного Совета: К а н д и д и Г е н к е л ь. Позади них — наряд солдат.

К а н д и д. Петр! А мы тебя ищем по всему городу: замучили телефонистов... Там, брат, кутерьма.

Г е н к е л ь. И кто это разблаговестил так скоро!

П е т р. Кто? Кто опять против нас?.. Да сколько же у нас врагов? Когда конец...

К а н д и д (*удивленно*). Ты что... — боишься?

П е т р (*овладев собой*). Ну, черт!

К а н д и д. На этот раз, брат, враги — вино и золото. Опасные ребята!.. Изголодались, брат. — Требуют, чтобы немедленно свершились обещанные Генкелем чудеса. Народ — всегда народ.

Г е н к е л ь (*нервно ходит взад и вперед*). Шутить не время. Надо действовать!

П е т р. Командир гаванского района — здесь?

К о м а н д и р (*выступая*). Здесь!

П е т р. Где твой отряд?

К о м а н д и р. Я всегда вместе с ним, товарищ.

П е т р. Проверить посты. Занять все выходы. В окна — пулеметы.

П р е м ь е р. Пулеметы?

Г е н к е л ь. Нет! Я протестую: мы не...

П е т р. Молчи! Я — командую армией. Я приказываю! (*Командиру*). Все ясно?

К о м а н д и р. Есть! (*Уходит*).

Г е н к е л ь. Но, пулеметы?!

П е т р. Ну, предлагай тогда свой рецепт на спасение.

Г е н к е л ь. Я... Я затрудняюсь... но надо обсудить!

П е т р. Что там обсуждать. Мы в западне.

Молчание.

К а н д и д (*увидев прекрасный портрет, едва слышно*). А, легендарная! Так вот где я тебя нашел... (*подходит ближе*).

Г е н к е л ь. Что же делать?.. Где выход?

К а н д и д. О ком поэты пели лучшие стихи, чьи страшные любовь и холод рождали огненные пытки творчества...

П е т р (*услышав*). Кандид! (*Отдергивает его*).

К а н д и д. Взгляни, как прекрасен этот лоб, эти губы...

П е т р. Проклятая приманка!

За сценой глухие короткие очереди пулеметов и неясный гул.

Премьер (*подходя*). Слышите?.. Уже!

Генкель. Да, да... Мы — подражаем императорским жандармам! Мы — избранные теми, кого сейчас пронизывают пули! Чем это все кончится?!

Петр. Так отдадим дворец! Пусть грабят: сначала здесь, потом друг друга, пока, кто посильнее, не заберется снова на знакомый горб.

Генкель. Нет, — не то...

Петр. Что же, по твоему, есть — власть?

Премьер (*повышая голос*). Сегодня власти нет. И потому, кто не лакей черни, обязан все отдать, чтобы ее восстановить. Без власти государства нет! Гибель!

Кандид (*насмешливо*). А ну, послушаем старую крысу, — кто знает, как это сделать?

Премьер (*бледнеет, но сдерживается*). Я знаю.

Генкель. Почему же вы молчали?!

Премьер. Я говорил сегодня вашему коллеге (*указывает легким кивком на Петра*), что есть единственный выход из создавшегося положения, один способ восстановить власть. Необходимо было бы образовать коалицию из состава законного правительства и членов Революционного Совета... но ваша партия все предредила принципиально и потому...

Генкель (*поспешно*). Что решено, то всегда можно перерешить.

Петр (*бормочет, отражая крайнее напряжение мысли*). Так вот в чем дело!.. Так... так... Внизу, под правой башней... (*Вдруг, охваченный страшным вдохновением, бросается к задумавшемуся Кандиду*). Кандид, ты — художник?

Премьер (*все время не спускавший с них глаз, решительно подходит к Генкелю*). Я вижу, вы дальновиднее других. Я хотел бы переговорить предварительно только с вами. (*Отводит его в сторону. Они ходят по залу от авансцены вглубь. Слышатся отдельные слова: «Доверие*

масс»... «Синтез мудрости и силы»... «Народное государство» и т. п.).

Петр. Скажи, если бы тебе пришлось выбирать: либо должно погибнуть величайшее творенье знаменитого, признанного гения, либо умереть молодой, совсем еще неизвестный, художник?

Молчание.

Кандид. Святотатство убивать только нерожденное. Кто раз рожден, тот не умрет. Разбитая статуя для меня жива и будет вечно жить — во мне, в тебе, в бесчисленных воспоминаниях и копиях. Все мое искусство я отдал бы за жизнь одного ребенка. Лишь то, что убито вместе с гением, — никогда не воскреснет.

Петр (*хватает его руку*). Ты решил судьбу Мира!

Кандид. К чему эти головоломки?

Петр (*быстро оборачивается, сталкиваясь с Премьером*). А! — так ваше последнее слово, господин министр?

Премьер (*все время, с нечеловеческой волей, владея собой*). Пора перестать заниматься пустяками. Постреливая лишь в смельчаков, которые ближе других подходят к винным бочкам, мы только дразним зверя. Необходимо открыть настоящий огонь и рассеять чернь. (*Молчание*). Подброшенное полено гасит начинающий загораться костер... Но если б это сделали вы, толпа завтра же потребовала ваши головы. Я беру все на себя. Мы немедленно объявим, что это я, член новой власти, приказал стрелять. Они ко мне привыкли. Они простят или забудут, как сотни раз. И через день, ручаюсь, мы снова станем сильнейшим государством.

Генкель. Я согласен!

Молчание.

Петр (*отвернувшись*). А я, дурак, думал, что он хотел спасти солдатские жизни. Ах, дурак!.. (*Командуя*). Кто со мной — сейчас уходи!

К а н д и д. Идем.

П е т р. Кто останется — погибнет, как предатель.

Группа у дверей быстро уходит. Генкель остается.

П р е м ь е р. Молокососы! (*Генкелю*). Теперь, скорее, идите на балкон, вот в эту дверь, и скажите, что товарищ Петр, он же жид Фишер, изменил, народу, что каждый, кто его встретит, должен убить на месте, что образована правительственная власть... Ну, да, идите же! Вы ведь считались у них лучшим оратором, — потому и попали в Совет...

Генкель машинально выходит. Премьер закуривает сигару, в усталую улыбку кривя тонкие губы, бормочет презрительно: «Молокососы». Садится в глубокое мягкое кресло, закидывая голову и вытягивается. Бесшумно вбегает Кандид, схватывает любимый портрет и скрывается обратно. В нише появляются Э л е н и С е к р е т а р ь.

С е к р е т а р ь. Дорогая... наконец-то!

Э л е н. Милый, как я соскучилась... (*Объятья. Элен опрокидывается на подушки. Входит Генкель*).

П р е м ь е р (*поднимая голову*). Ну, что?

Г е н к е л ь. Я еще... Я подожду немного... Я еще ничего не сказал... Дайте мне успокоиться!

Премьер (*уже с нескрываемой злостью*). Да, выпейте воды! (*Сует Генкелю графин*). Пророки! Чуть ли не новой расой провозгласили себя, а куда вы ходите? — потомки сифилитиков и пьяниц... (*Повышая голос*). Теперь вы не должны забывать, что я — глава правительства, в состав которого входите и вы. Я вам приказываю, господин министр, исполнить ваш долг. В такие минуты время не теряют... (*Ободрая*). Ну, — идите!

Г е н к е л ь. Да, да... Что я должен сказать? Ах, да... пархатый жид! (*берется за ручку двери*).

Э л е н (*задыхаясь*). Милый, милый...

Секретарь начинает осторожно поглаживать паутинный чулок. Мелькает полоска обнаженного тела. Вдруг непредставимый

взрыв, огромный огненный смерч, поглощает сцену. И через миг — тьма, хаос, грохот. Потом, постепенно, наступает долгая тишина. В тумане осенней ночи появляются подводные светялки фонарей. Серые фигуры солдат бродят по каким-то неровностям; быстро и молча ищут, мелькают носилки санитаров. Когда бледный рассвет начинает рассеивать мрак, сцена оказывается загроможенной гигантскими обломками. Рядом спит смена солдат. Работающие солдаты иногда обмениваются негромкими возгласами: «Здесь»... «тащи»... «сюда»... и т. д. Утомление преобладает на всех лицах. Вдруг врывается резкий, ясный звук трубы. Солдаты мчатся на ее зов. Всюду крики: «Стройся!.. Стройся!» Сцена быстро наполняется народом.

Р а б о ч и й (грозя куда-то выше развалин, как будто все еще видит дворец). Так тебе и надо, зараза!

В т о р о й. Эх, углей сколько! (*Мальчику*). Сень, беги за мешком... Только смотри, что другое найдешь — солдату отдай.

П е р в ы й. Углей?.. А может нашего брата на этой самой перекладине вешали, с которой угли?

В т о р о й. Стой, Сень.. Самовар нечем разжечь... Да пропади они пропадом!

В е с т о в о й (*подходит к командиру гаванского района*). Товарищ командир!

К о м а н д и р. А! Ну, объехали город?

В е с т о в о й. Наш район, товарищ. По пути попались два патруля, тоже, говорят, везде тишь.

К о м а н д и р. Понятно. Как разнесли эту чертовщину, так народ стал народом... Ладно, скажи своему начальнику, чтобы всех отпустил в казарму: нечего зря лошадей гонять. (*Уходят*).

С противоположной стороны вбегают небольшими группами и поодиночке вооруженные солдаты. Они подстраиваются, рассчитываются; раздаются слова команды.

С е н я (*вбегает с куском жирного мяса*). Тятка! Лошадь там, зажарилась! Ох и вкусна!

Большинство из толпы бегут за Сеней.

С е и я. Ох, и жирна!

Вдруг пробегают возбужденный гул: «Идут... идут!..» Толпа останавливается. Начальник отряда командует: «Смирно!» Входят члены Революционного Совета. Под фуражкой Петра белая повязка.

П е т р. Вольно!.. Товарищи, сегодня в городе нет другой власти, кроме власти тех, кто сам держит винтовку и молот. И почти из всех городов мы получаем такие же вести — везде рабочая власть!

Э х о в т о л п е. Наша власть!

— Ура!

П е т р (*покрывая крики*). Но это еще не победа!.. (*Голоса угасают*). Враги еще скалят зубы на вырванный кусок. В лесах еще бродят волчьи стаи. Еще рабы в колониях гнут костлявую спину, умножая тухлый жир богатства. Мы свободны и потому должны освободить всех. Мы понесем наше знамя во все страны. Все вперед и вперед!

Э х о в т о л п е. Все вперед и вперед!

П е т р. Если надо, даже Сибирь пройдем от края до края и не устанем. И вы, кто остается, несмотря на голод, на века неволи, победив — побеждайте усталость. Отдых будет после последней победы. Теперь же, во что бы то ни стало, — стройте! Пусть, как боевое знамя, в крови будут мозоли рук, пусть падают камни, разбивая головы, пусть рушатся леса — стройте! Ночью мы взорвали дворец, чтобы выжечь гниль наших душ, зараженных рабством... Но вместе с дворцом погибла красота. Плечо к плечу, удар за ударом, освобожденный труд — всемогущ. Чтобы вновь бессмертным стал прекрасный подвиг, мы сбережем его, выстроив Новый Дворец!

Э х о в т о л п е. Новый Дворец!

П е т р. Когда же победим и вернемся, начнем наш последний штурм — штурм неба.

Э х о в т о л п е. Неба!

— Все вперед и вперед!
— Все выше и выше!

Петр (*солдатам*). Через Сахару, через Гоби, через дери и степи, за Гималаи, за океаны — красная гвардия — м а р ш!

Команда. Крики. Движение. Музыка. Экстаз... Сцена пустеет и опять наполняется новыми толпами. Вдруг, с непонятной быстротой, в руках появляются заступы, ломы, топоры, кирки. Перекликаются бодрые голоса. Кто-то восторженный и длинноволосый мелькает по обломкам и кричит ликуя: «Товарищи! вот здесь сначала... здесь расчистить!.. вот так... вот сюда...».

П е т р (*Кандиду*). Теперь прощай, друг. Ты должен остаться. (*Взмахивает рукой — куда ушли солдаты*)... А если не вернусь (*сжимает руку*), — огонь, зажженный в душах, не умрет... (*Быстро, по-мужски, целуются*).

К а н д и д. Взгляни на них... (*Входят на мраморную глыбу*).

В толпе глухие удары и рабочие крики. Несколько голосов, едва слышно, задыхаясь напевают: «Своею собственной рукой..»

К а н д и д. Огонь, горящий в душах, не может не победить!

Дым тлеющих балок, как жертвенные огни. Над обломками — знамя революции. Петр снимает фуражку. И ярко, как знамя, горит кровь на белой повязке.

**ИЗБРАННЫЕ
СТИХОТВОРЕНИЯ**

СОЛНЦЕ СЕРДЦА

(Новониколаевск, 1923)

— Вивіан Ітін —

СОЛНЦЕ СЕРДЦА



Книгоиздательство
"СИБИРСКИЕ ОГНИ"

СИНТЕЗ СОЛНЦА И СЕРДЦА

Примет ли современный читатель книгу В. Итина «Солнце сердца»?

Окажется ли она нужной человеку нашей эпохи, так жадно и напряженно взыскующему новый мир?

Какая странная и смутная душа у поэта. — Стремление по путям, изведанным в веках Эмпедоклом, Данте; раздвоение по двум руслам: с одной стороны — грезы о голубых берегах, голубых высотах, зачарованной выси, искание синих берегов, лучезарных сфер, родственных ему звезд бесконечности, — и все это наряду — с другой стороны — со звериной, непосредственной и стихийной жаждой первобытных ощущений, каких-то оргийных вдыханий в себя тайги, зим, тропических запахов, переживаний зверя; восприятие революции, как сказочного похода, первобытной, дикарской и прекрасной охоты «за врагом быстроногим и ловким».

Какая странная и смутная душа у поэта!

Где же настоящий путь и подлинный лик, истинное русло течений его души?

Кто он? — Революционер, созидающий новый мир, или романтик, который с отвращением смотрит на ношу борьбы за земное счастье и всецело уходит от нее в заоблачный мир, в мистические грезы?

Эти вопросы возникают у нас и возникнут у читателя, потому что хотя в стихах В. Итина есть известная доля зараженности стихией А. Блока, Н. Гумилева, есть налет интеллектуализма, — все же в конце концов он обладает достаточным внутренним мужеством и поэтическим талантом рассказать о себе своими словами и именно то, что он сам переживает, то, что он носит в своем сердце.

Из этого не следует, что в нем нет социальной сущности, социального лика, которые бы безнадежно тонули и терялись в глубинах его индивидуальности и оставались для читателя навсегда таинственным и загадочным кладом.

Я был искателем чудес,
Невероятных и прекрасных.
Но этот мир теперь исчез,
И я ушел в дремучий лес, —
В снега и вьюги зим ужасных...

Эта строфа из его поэмы «Солнце сердца», центральной грамоты его поэтического сердца, является для нас его «проходным свидетельством», указующим на его стоянки, направления и достижения.

Все стихи, написанные им до революции — «Эмпедокл», «Синий жемчуг», «Двойные звезды» и т.д. — определенно романтичны, порой от них веет еле уловимым запахом мистики: это взлеты души, поэтической и страстной, но еще блуждающей в неопределенной, беспредметной, социально-хаотической стихии.

Некое положительное начало проступает и в них; оно прощупывается и намечается повсюду: и в указанных стихотворениях оно проявляется в нотах «тоски и гнева», в желании найти самого себя, нащупать «источник сжигающих огней», свою первооснову, наконец, в отвращении к буржуазному миру в стихотворении «Кино».

В выборе тем, в форме стиха, в самой инструментовке слов, расплывчатой и малоэкономичной, — это еще в большинстве случаев определенная романтика, нередко — просто зараженность темами литературы, вторичная и отраженная уже от искусства стихия.

И поэт чувствует это:

О, эти прихоти блуждающей души,
Рожденные в безжалостной глуши...

Но он сумел вынести из опасной для человека и поэта ужасающей глуши, провинциализма духа, внесоциальной затерянности и бездорожья основную здоровую стихию своей личности, это — претворенное в культуре мужество дикаря к подвигам, гордым взлетам борьбы, жажду к по-

ходам за счастьем, наслаждение борьбой за свою первооснову, извечно-человеческое.

Первые взрывы революции отозвались в душе поэта мучительным вопросом о бесцельности своих «огромных», но беспредметных мечтаний:

Но для кого возможны эти сны
В немых снегах чудовищной страны,
Где вечно гибнет воля к воплощенью
И мысль покрыта тусклой страшной тенью?

И только собственный уход в революцию окончательно воскресил поэта. И как радостно и широко зазвучала для него эта извечная стихия борьбы в глубоких и страшных ударах революции. И так глубоко и музыкально отозвался на эти звуки поэт! И, несмотря на то, что он был новичком революции, несмотря на то, что он революцию для себя открыл лишь при ее первых раскатах, он сразу же оказался внутренне и органически ей близок, сразу сумел стать ее законным сыном.

В цепи стрелков, в цепи оледенелой
Мы целились меж ненавистных глаз,
И смерть весь день так сладко, близко пела,
Что колдовала и манила нас,
И снова грохот легендарной битвы,
И доблести высокий, гордый лет...
О кто поймет — проклятья иль молитвы
Бормочет, задыхаясь, пулемет!

Поэт не является пресмыкающимся наемником революции, он не бежит, как раб, за ее победной колесницей, нет, и в ее страшной стихии, в ее беспощадно рушащих ударах, он умеет сохранить свое, то, что он любит и носит в себе, как свое, единственное.

И, обвиняя врагов революции, «В Трибунале», он искренно говорит, что его душа «двойственна» и ему мучительно-трудно обвинять людей, когда так напряженно и

близко блеснула светлая мечта о всеобщем человеческом счастье.

Убийцы могут быть святыми,
Как звери, жаждущие жить...
И что-то плачет вместе с ними —
Кого я требовал убить.

И снова сомнение:

Опять начну на все готовый,
Кровавая губы, новый путь, —
Но выдержит ли сердце грудь
Дробить привыкшее оковы?

Поэт метнулся глубоко в грядущее. Он радостно и музыкально поет ее светло-звонящее зарево. Но он остался тем, кем был и до нее — интеллигентом; он не захотел говорить о ней чужими, внешними словами, не захотел словословить ее одними «хладными устами».

Мы знаем, видим, поэт не несет нам и не носит в себе беспощадной, беззаветной неоглядной ненависти к врагам пролетариата; революция для него — известное усилие, прыжок, преодоление своего «я».

Он ощутил и понял; на истории своего поэтического развития показал, что интеллигент не «беззаконная комета в кругу расчисленном светил», а если и межпланетное существо, то и то лишь в теории; в жизни же, особенно в практике революции, он обязан стать самим собой, т.е. должен найти и определить, наконец, свое социальное гнездовье, если он не хочет остаться безличным материалом для удобрения почвы господствующих классов.

И все ценное, что поэт носил в душе, — любовь к мужеству, к борьбе, к творчеству, свою актуальную музыкальность, — он отдал и отдает будущему, и это будущее, которое реально обнажила пред ним революция, насыщает его песни глубоко и полно звучащими нотами.

В этом своеобразном синтезе — здорового человека и стихии революции — он постепенно обретает свой поэтический лик.

И в стихотворении, посвященном писательнице Л. Сейфуллиной, он уже ощущает свою полную и беззаветную принадлежность к этой новой — «нашей расе».

Непонятная дышит сила.
Переплескивает берега...
О, так радостно, жутко было
По невидимым тропам шагать!
За врагом быстроногим и ловким,
По пятам, опустить штыки...
На прикладе ижевской винтовки
Острой пулей царапать стихи.
Ничего, что мой томик Шекспира
На сигарки свертели в пути, —
Взбита старая мира перина,
Будет радостней жизнь любить...

И, наконец, в своей поэме «Солнце Сердца», полной своеобразной, музыкальной стихии, где наряду с воспоминаниями о шуме столиц, покое и роскоши библиотек, о страницах Пифагора, брошенных миру, он рисует тайгу, снега, выюги, великие походы, грезит очаровывающими снами о будущем, о созданной им стране Гонгури, — в этой поэме уже живо ощущается огромный сдвиг и порыв в здоровую стихию человека, наполненную глубоким внутренне-революционным содержанием.

И уже нет ни на каплю в сохраняемой им до конца своей индивидуальности ненужного индивидуализма, романтической отвлеченности; наоборот, теперь его личность нечто социально-ощутимое: она несет в себе необходимый обществу социально личностный опыт, вливает в него струю ценнейшего поэтического мужества.

Нас вечно двое против двадцати
Пред нами вечно бури и пространства.

В мечте всемирной есть печать славянства, —
Кто смог бы столько мук перенести?
И не понять не знаяшим нашей боли,
Что значит мысль, возникающая на миг:
— Ведь это я стою с винтовкой в поле,
Ведь это *м о й* среди вьюги бьется крик.

Таков в кратких словах путь поэта: от романтических блужданий, от подражания и следования за Данте, А. Блоком, Н. Гумилевым, от провинциализма духа и внесоциальности — к своей изначальной здоровой стихии, обретаемой им в революции, в открывающихся реальных, но величайших и чарующих возможностях для человечества.

Этот путь оказывается крайне плодотворным и многозобещающим для молодого поэта.

И пусть, с одной стороны, умолкнут те, кто утверждает, что «солнце» — стихия революции — суживает задачи поэзии, убивает ее ценность, — а с другой пусть поймут, наконец, и другие, что поэту всегда необходимо и самое напряженное сохранение своего «сердца» — личного, музыкально-индивидуального.

В социально-здоровой личности, ее искреннем обнажении себя — начало новой поэзии, источник форм и содержания грядущего творчества.

Синтез «Солнца и Сердца» таит в себе глубокие музыкальные возможности, — элементы новой — органической и естественнейшей культуры.

Валериан Правдухин.

АИДОНЕЙ
1912 — 1922

ЭМПЕДОКЛ

Моя душа — огонь, Аидоней,
Ее туда влечет, где он таится, —
К источнику сжигающих огней:
Подобное к подобному стремится.

Куст белых роз и юноша и дева,
Я знаю жизнь и знаю цену ей.
Моя душа полна тоски и гнева,
О исцели ее, Аидоней!

Всегда, всегда под гнетом снов и Рока
Проходит жизнь, как странная мечта,
И от любви до низкого порока
В ней неизменны ложь и суета.

И чем больней безумнее и глуше
Стучат и стынут бедные сердца,
Тем ярче к ней, все к ней стремятся души...
Но Истина уходит без конца.

Возьми мой прах, о кратер величавый,
Мне скучно дольше жить и дольше ждать,
Омой мне сердце беспощадной лавой,
Лишь мертвое перестает рыдать!..

Моя душа — огонь, Аидоней,
Ее туда влечет, где он таится,
К источнику сжигающих огней, —
Подобное к подобному стремится.

СИНИЙ ЖЕМЧУТ

I.

Кто исчислит богатства Дедала?
С чем сравнится его ореол?
Он построил дворцы из коралла,
Что пурпурный приносит атолл.
Там алмазы из Индии знойной,
Голубые, как детские сны,
Жемчуга есть бледнее луны
И рубины, как сон беспокойный...

Но пределы немислимы грезам
И безумный искатель чудес,
Он отдался туманным наркозам
О жемчужинах в море небес.
И с тех пор есть одно постоянство
В каждой грезе, что к солнцу влечет
Ледяные пустые пространства,
Где в блаженстве сгорает пилот.

II.

На незримых волнах атмосферы,
Средь тончайших эфирных зыбей,
Я лечу в лучезарные сферы,
Увлеченный мечтою своей.

Бездны неба прозрачны и ярки,
Синева, словно сон, глубока,
И везде — триумфальные арки
Вознесли надо мной облака

И, как сон из туманной поэмы,
Напевает восторженно винт,

Что увидевший неба эдемы
Не вернется в земной лабиринт.

Остановится сердце пилота,
Остановится легкий мотор,
Но душа не изменит полета
В неземной поднимаясь простор.

ДВОЙНЫЕ ЗВЕЗДЫ

Двойные звезды есть в пространстве,
Горят согласно их сердца,
В закономерном постоянстве
Куда-то мчатся без конца.

И вечным холодом эфира,
Как морем тьмы, окружены —
В провалах черного сапфира
Все медленней и глубже сны.

Но силы бешеные бьются
В крови остывших звезд всегда,
Когда-нибудь пути сойдутся
И вспыхнет новая звезда.

И снова длится жизни танец,
Замкнут опять все тот же круг —
Лишь золотой протуберанец
Лучам откроет окна вдруг.

КИНО

Плакаты в окнах в стиле неизменном:
«Большая драма!» — «В вихре преступлений!»
Порочных губ и глаз густые тени
Как раз по вкусу джентльменам...
А на экране — сыщики и воры:
И жадны разгоревшиеся взоры.

Конечно, центр — сундук миллионера
И после трюки бешеной погони:
Летят моторы, поезда и кони
Во имя прав священных сэра...
Приправы ради кое-где умело
Сквозь газ показано нагое тело.

Чтоб отдохнуть от мыслей и работы
И мы пришли послушать куплетистов,
Оркестр из двух тромбонов и флейтистов
Дудит одни и те же ноты...
Как легкий дым в душе сознание тает
И радости от зла не отличает.

Кому доступно совершенство?
Телам, что в первый раз слились?
В безумьи есть свое блаженство
И зачарованная высь.

Нет, не обычные объятья
Мы друг от друга ночью ждем, —
Такого голубого счастья
Мы в этом мире не найдем.

Но если огненные боги
Свои нам чары отдадут,
В какие страшные чертоги
Нас пропилеи приведут!

Наш домик маленький и тесный
И мебель — стул, кровать и стол,
Но в нашем сердце он — чудесный
Морей коралловых атолл.

Мы здесь с тобой — ночные воры,
Мы счастье страшное крадем.
Его, через моря и горы,
С тобой, как знамя, пронесем.

Качают розовые волны
Друг с другом сжатые сердца;
И всеобъемлюще огромны
Глаза блаженного лица.

Мы будем счастливы недолго;
Но завтра ты придешь опять!..
И пусть потом — проклятье долга,
Как траур, будешь коротать.

Мне это необходимо, я знаю,
Целовать чьи-то чужие губы,
Пока рассвет холодный и грубый
Не рассеял туманные тайны.
Если можешь — прости за это.
Я болею твоей же болью...

Но сердце, — сердце поэта
Все равно не изменишь любовью.

— Ты, хорошенький, дашь мне десять?
Комната у меня своя.
А слева ущербный месяц,
В комнате большая кровать.

С кровати встала старуха,
Зло посмотрела в глаза,
Уходя, уронила глухо:
— В «Треугольник» хотели взять.

Раз живешь со всеми в стойле,
Нужно быть таким, как все.
— Что же, спой, — говорю я Оле
В черную пасть занавес.

Дух — словно океан огромный,
Чем ниже в глубь его уйдешь,
Тем чудищ все странней изломы, —
Где ложь, где правда — не поймешь.
Воспоминания и грезы,
Как стебли дымные встают
И словно огненные розы
В мозгу расплавленном цветут.

Но сердце бьется равномерно.
В глазах спокойный долгий свет:
Ведь хорошо узнать наверно,
Что никакой надежды нет.

И можно делать все, что хочешь
И смерть — послушная раба... —
В дневной тоске, в угаре ночи,
Лишь позови — придет любя.

БЕСЦЕЛЬНОСТЬ

Во мне горят огромные мечты,
Кристаллы грез огромной красоты.
Они, как сон, в моей душе замкнуты,
Они живут в тягчайшие минуты.
Но для кого возможны эти сны
В немых снегах чудовищной страны,
Где вечно гибнет воля к воплощению
И мысль покрыта тусклой страшной тенью?

Невероятный, беспокойный сплин
И блеск недостижимых вершин;
Такая жажда отдавать и биться!..
Но тот же Мир мне непрерывно снится.
Великий или Тихий океан?..
Зачем? — В притонах будешь так же пьян, —
Там страсти падают все ниже, ниже
И жизнь становится понятнее и ближе.

О эти прихоти блуждающей души,
Рожденные в безжалостной глуши
Одних и тех же яростных стремлений,
Однообразных жалких вожделений!
Ах все равно нам быть или не быть, —
И жизнь и сон затем, чтобы забыть
В их сменах утомительно бесцельных
Отраву дум спокойных и смертельных!

ЗНАК БЕСКОНЕЧНОСТИ

Над ровным полем летчик, новый сын Дедала,
Чертил волшебные восьмерки в облаках,
И, вдруг, упал... Затих мотор: лишь кровь стучала,
Живым огнем вздувая жилы на висках.

Что значит жить. — Смешно бежали люди в черном
Спеша и задыхаясь... Сняли шапки вдруг.
Нагнулись... спорили. Неловко взяли труп
И понесли, закрыв его, в плаще просторном.

А в поле мертвом, молчаливом, как провал,
Осталась сломанных частей немая горка,
И почему-то в памяти моей вставал
Знак бесконечности — упавшая восьмерка.

НАСТУПЛЕНИЕ

В цепи стрелков, в степи оледенелой
Мы целились меж ненавистных глаз;
И смерть весь день так сладко близко пела,
Что колдовала и манила нас.

Потом, заснув в татарской деревушке,
В ночную тьму, как волки, вышли вновь,
Нас привлекали вражеские пушки
И сок волшебный — человечья кровь.

Враги ушли и мы за ними гнались,
Ночь и мороз объяли кругозор.
В безбрежном снеге люди утопали,
И странно загорался черный взор.

Нам попадались трупы отступавших,
И, кто был жаден, раздевали их:
И в смерти жил, светясь на лицах павших,
Чудесный сон видений голубых.

То был покой бессмертный и огромный,
Манивший рядом лечь у колеи, —
Но в нас гудел какой-то пламень темный
И мы, изнемогая шли и шли.

В душе цвело неясное безумье,
Воспоминанья брошенных невест,
А над землей сияло пятилунье —
Таинственный небесный крест.

Мы шли вперед и, словно камни рифов,
Встречались избы тихих деревень:
Мы воскрешали время древних мифов
И на штыках рождался новый день!

Наш новый день — начало испытаниям;
И снова в цепь рассыпались стрелки,
Стараясь отогреть своим дыханьем
Замерзшие ружейные курки.

И снова грохот легендарной битвы,
И доблести высокий, гордый лет:
О кто поймет проклятья иль молитвы
Бормочет, задыхаясь, пулемет!

Как Данте, я спускаюсь к центру Ада
Душа страны объята мертвой тьмой,
Безжалостное сердце радо!
Безжалостное сердце — спутник мой.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Вс. Горнову

Все полки заняты поэтами,
(Как мы в них любим каждый звук!),
И стол с любимыми портретами —
Воскресших грез волшебный круг.

Все, все остались, все нетронуты,
Как будто не было войны...
Нет, я вчера из этой комнаты
Ушел, а ночью видел сны...

Такие длинные, нелепые —
Как будто я стрелял в людей,
Как будто всадники свирепые
Загнали бешеных коней.

Как будто в ночи, вьюги зимние
Я, словно дух, блуждал в полях
И слушал песни заунывные
В татарских дымных деревнях.

О если бы не ряд потерянных
Друзей, встающий предо мной
И длинный перечень расстрелянных,
Я б мог поверить в мир иной!

Мир, непохожий на действительность,
Как мысль бессмертная моя,
Иль речи мерная медлительность,
И эта комната твоя...

Но нам доступны достижения,
Когда с тобой, по вечерам,

Мы совершаем приношения
Своим прекрасным божествам.

И грезы грезами сменяются,
Сквозь дым другие снятся сны,
То словно лилии качаются,
То расцветают плауны.

Без сожаленья и раздумия
На этом солнечном пути
Прекрасно в царствие безумия
В чужие вымыслы уйти...

Потом, язык богов молчаньями,
Как он прекрасными, прервать
И золочеными мечтаньями
Свою печаль заколдовать.

Ведь где-то есть еще поэзия,
Есть бесконечная весна.
И голубая Полинезия,
И голубая тишина.

Там никогда не слышно выстрелов,
Там небо нежное, как лен.
И вместо страшных клеток выстроен
Дворец из пальмовых колонн.

Туда с тобой, мой друг единственный,
Уйдем в зеленый монастырь,
Где всюду — океан таинственный
И солнце, и ветра, и ширь.

В ТРИБУНАЛЕ

Душа... Но есть двойные души...
Кто сможет обвинять, когда
Все напряженнее и глуше
Трепещет светлая мечта?

Быть может, я был грозным зверем,
Когда родился средь волков.
Я сознаюсь, не лицемеря —
Я только луч во мраке снов.

Убийцы могут быть святыми,
Как звери, жаждущие жить...
И что-то плачет вместе с ними —
Кого я требовал убить.

ПОХОРОНЫ МОЕЙ ДЕВОЧКИ

А. Итиной

1.

Она как будто бы летит.
Остались глазки не закрыты,
Застывший вдруг метеорит
Сдавили синие орбиты.

И так всевидящ этот взгляд,
И так зовет к себе за грани:
— О, не вернется жизнь назад,
Конец последний не обманет!

А рядом с нами дикари
Едят кутью, не плача воют...
Как странно голова горит,
Какая пустота порою.

2.

Она слишком была человечесьей,
В три месяца — громко смеялась,
А в шесть — лепетала длинные речи:
Папа и мама... папа и мама...
Нужно быть сильным зверем,
Чтобы жить на земле проклятой...
Я в морозы, в солнце поверил,
Я был в море и был солдатом.
Но смерть не меня большого,
Всего в синяках и шрамах,
Отняла ребенка больного,
Чтоб сильнее большого изранить.
И туда, где умеют молиться,
Я кричу, в кресты и могилы:
— Если это ваш бог — убийца,
Передайте, — меня не забыл бы!

3.

Я не я... О если бы проснуться!
Стать, как прежде, первым звероловом,
Со своим ребенком радостным и голым
Поступь мамонта в траве следить,
Темным логом долгие минуты
Светлой страстью пьяным быть...
Теплый ветер дышит океаном,
Чешет шкуру старую тайги,
Тянет хвоей и сухим бурьяном,
Наши груди ясны и легки...

В нашем мире верные ловитвы,
Смерть же только ясный спутник битвы...
— Смерти нет, когда упруги груди,
Сладки материнских два сосца,
На большом костре сегодня будем
Мы медвежьи жарить жирные сердца;

А потом час тихий будет — ни борьбы, ни мести;
Чуток воздух ночи; мы спокойны вместе...

4.

— После смерти, после каждой смерти
Расцветает снова красота.
Разве можно, разве можно верить,
Что бессильна светлая мечта?
Пусть безумье, я безумью верю!
Что нашли мы в дыме наших книг, —
Разве меньше тысячи поверий
Говорит один последний миг?
Громче грома жизни, громче зова смерти
Миг непредставимой высоты.
Разве можно, разве можно верить,
Что из глины кладбищ я и ты?

5.

Мой дух оглох от вечной бури,
От жажды синих берегов,
У нас могилы без крестов,
Но тем сильнее зов лазури.
Лесной пожар души затих
Псы утомленья раны лижут.
Иду и вижу и не вижу,
Что ноши нет в руках пустых.
Опять начну на все готовый,
Кровавая губы, новый путь, —
Но выдержит ли сердце, грудь
Дробить привыкшее оковы?

НОВО SAPIENS

Я овладел огнем — огонь горит во мне.
Я победил моря — во мне остались бури.
Быстрее птиц я мчусь в пустой лазури.
Но пустота живет в моем бездонном сне.

Я все узнал, все уловил в тенета
Огнеподобной воли и мечты.
Но сколько раз в темнице звездочета
Я сам сжигал заветные листы!

Душа жила средь смерти и безумья,
Жгла бледной страстью мозг ее жрецов,
И как удары были их раздумья,
И превращались идола в рабов.

Упорней всех со мной боролись люди,
Топтали толпы радостный посев.
Но я придумал тысячи орудий,
Чтоб усмирить их беспокойный гнев.

Бессильный зверь теперь пощады просит,
Покорный падает к моим ногам,
И каждый день он жертвы мне приносит,
Каких не приносил своим богам...

Я победил моря — во мне остались бури.
Я овладел огнем — огонь горит во мне.
Я выше гор и выше птиц в лазури,
Мне — мощь стихий и красота поэм!..

Но все-таки я умираю в грезах,
И непонятный сон меня томит,
И мысль, как демон в сказочных наркозах,
В провалы неба без конца летит.

Не зная воли, все ж к лучам стремится
В тюрьме рожденный солнечный орел,
Так дух предвидит некий ореол
И жаждет навсегда освободиться!

ЗАПОВЕДИ 1917 — 1922

Любить хаос горящих миров и детский выговор.
Быть нежнее звериных шкур и листьев мимозы.
Стальной рукой подписывать смертный приговор
И звать миллиарды во имя солнечной грезы.
Увидеть все воды и земли, рабочим, бродягой свободным.
Сжечь тело солнцем тропик и сибирской зимой.
Стать бандитом, рабом, героем — кем угодно —
И навсегда остаться самим собой.

Глядя, одноглазый, поверх винтовки, на волны бешенства
бурные,
Рассказывать неслыханные поэмы.
Тридцать три года просидеть сиднем, как Илья Муромец
И вдруг своротить мировые системы.

Создавший богов больше, чем все боги Мира.
Светлее множества солнц единая мысль моя.
— Аз есмь Господь Бог твой и не сотвори себе кумира,
Кроме себя!

ПРИКАЗЫВАЮ

— Я
Приказываю: во что бы то ни стало
Перепрыгните через себя!

Это мало —
Штопать заплаты веков:
— Меньше хижин, больше дворцов!

Солнце, солнце —
В сети поймать!
Сердце солнца
Моря и суши,
А души
Поэты должны сковать...

Как спрут, издохла в шарманке
И, гнусава, гниет пустота.
Найдут в словаре «вагранки»
И думают — красота;

Нет!

Кометы огней заводов,
Сквозь мрак и дали
Планет,
Пробьются могучей лавой,
Но переплавить
Сердце в солнце —
Труднее стали!
Я,
Из своей тайги,
Один
Об этом солнце
Мечтами
Кричать буду —
Медведям Белым.
Полярному Кругу. —
Всем!
Всем,
Эй, шевелите ушами!
— Каждый, — слышишь?
— Под страхом расстрела,

— Еще!
— Еще!
— Выше!

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ

Чтобы в рай нашу землю закинуть, —
Как тетиву натянем назад.
Электричество — плюс и минус:
Революция та же гроза.

Наждаку насыпайте в подшипник,
В ствол банана — гвоздите медь.
Подсевайте репейник в пшеницу,
Чтобы бос перестал жиреть.

Лишь разрушенный мир поневоле,
Будет нашим — безногий спрут —
Все равно, ведь, привыкли мы к боли,
Все равно нескончаем наш труд.

После гроз, после взрывов и смерти
Остается чудовищный дым,
Мы при босах потели, как черти,
Для себя чудеса создадим.

Ни границ, ни врагов, — только шири,
Да наследие гроз — бурелом;
Но в пустые просторы Сибири
Мы творящим потоком войдем.

В нашем радостном сердце крылатом
Солнцем венчик простой расцветет, —
Ведь мельчайший таинственный атом
Бесконечность сокровищ несет...

Но пока лучший жребий не вынут,
Будем помнить, средь бурь и преград:
Чтобы в рай нашу землю закинуть,
Как тетиву натянем назад.

В ГАВАНИ

Резкий ветер поднимает воду.
Корабли качаются в тумане.
Испугались бурь островитяне
И, дрожа, ругают непогоду.

Только мальчики довольны очень.
На высоких сваях ставят метки:
— Ветер, может быть, окрепнет к ночи
— И тогда потонут наши клетки.

Без конца, задумчиво и странно,
Стонут в вышине тугие тали,
Словно горечь бесконечной дали
Им навеял воздух океана.

Струи ветра жестки и упорны.
Волны, гневной пеною покрыты,
Как народ, могучий, непокорный,
Затопают черные граниты.

В ТАЙГЕ

Дрова листвяжные кубами,
Мохнатый лунь у входа нем.
Проходит, лязгая зубами,
Король завьюженных поэм.

У елей лапы леших ветви,
Коряги, заваль, гниль и мхи,
И в этом сне тысячелетнем
Такие гордые стихи!

Скользим на лыжах, сжавши ружья,
И волны крови вены рвут,
И мысли звонкие, как стужа,
В страну волшебную ведут.

Ив. Ерошину

Ты весь тайга, я весь пришелец, —
Но так же мне поют снега
И пагоды недвижных елей,
Медвежьи темные лога.

И кажется — не променяю
Наш грубый радостный простор
На чудо городского рая,
На кружево далеких гор ...

Но поклянемся: в белом дыме
Седой метельной пустоты
Зажечь огнем непредставимым
Невероятные мечты!

В. Зазубрину

Я люблю борьбу и, чем — трудней, тем больше.
И, борьбу звериную любя,
Словно плечи, жаждающие ноши,
Научился побеждать себя.

Здесь борьба труднее революций,
В главном штабе разума, когда
С темной кровью мысли бьются —
Враг незримый режет провода.

Террор ясен и убить так просто.
В наших душах нам нужней чека —
Пулей маузера, в подвалах мозга,
Пригвоздить ревущие века.

А иначе на предельной доле
Как сдержаться? Перейдя черту,
Тангенс высочайшей воли
Вдруг проваливается в пустоту.

И охвачены крикливым шумом
Бесконечных голодов и жажд,
Сколько раз в кровище их безумий
Мы поскальзываемся, дрожа!..

Жаждой радости и дрожью горя
Беззаветно полня чрево бытия,
Нужно пальцы чувствовать — на горле
Своего второго Я.

НАША РАСА

Л. Сейфуллиной

Непонятная дышит сила,
Переплескивает через край.
Это мы перешли могилы,
Увидали нездешний край.

Все, что вспомнишь — невероятно,
Сердце солнечный наш цветок
Леденело в кровавых пятнах
По наземам скифских дорог.

Иль в распаренной вшивой теплушке —
После выюг «буржуазный» уют —
Нашу дымную грозную душу,
Воспаленную душу свою.

Непонятная дышит сила,
Переплескивает берега...
О, как радостно жутко было
По невидимым тропам шагать!

За врагом быстроногим и ловким,
По пятам, опустить штыки ...
На прикладе ижевской винтовки
Острой пулей царапать стихи.

Ничего, что мой томик Шекспира
На цыгарки свертели в пути, —
Взбита старая мира перина,
Будет радостней жизнь любить...

Непонятная дышит сила,
К непонятной влечет судьбе, —
Это бьется, сжигая, по жилам
Солнце разных зовущих небес.

На плечах светозарная масса,
Лучезарной памяти сад...
Небывалая наша раса
Никогда не вернется назад!

СОЛНЦЕ СЕРДЦА

Л. Рейснер

Как будто цикада из прерий
Победно поет пулемет.
Прожектор сияющий веер,
Тревожный раскинул полет.

Гранитные черные горы
Качаются в ключьях небес, —
То выстрел с матросской Авроры —
Рассвет легендарных чудес.

Кометы, шрапнель, над Невою
Грызут истуканов дворца.
И огненной красною кровью
И солнцем пылают сердца.

В безмерные буйные бури
Мы бродим и бредим с тобой,
Что грезы о светлой Гонгури
Витают над темной землей.

В тумане волшебной, великой,
Как солнце, растет красота...
Победные, страшные крики
С железного слышны моста.

С тобой проститься не успели мы ;
За легкой славой ты ушла;
Но все ж путями нераздельными
Дорога наша залегла.

Расстались с прошлым без возврата мы.
Я полюбил, как зверь, снега, —
Сибирь, где башнями косматыми
Качает черная тайга.

И — кто за прежнее поручится? —
Быть может, бешено любя,
В корабль враждебный с камской кручи я
Безмолвно целился в — тебя!

Мы не один раз умираем
И любим много, много раз,
Но есть единственный экстаз —
Его огня не забываем,
Когда любя мы умираем.

Я был искателем чудес
Невероятных и прекрасных,
Но этот мир теперь исчез
И я ушел в дремучий лес,
В снега и выюг и зим ужасных.

Пред мной колышется дуга
И мысли тонут в громком кличе,
Поют морозные снега
И в беспредельном безразличьи
Молчит столетняя тайга.

Но кто бы знал, какими снами
Я наполняю зимовье,
Когда варначьими тропами,
Как души черными ночами,
Людское рыскает зверье!

О проклятье!
Ноги стерты —

Сорок верст в пургу и вьюгу
Каждый день ...
Версты,
Версты! —

Путь победный
Средь враждебных,
Дымных, темных,
Одиноких
Деревень.

Каждый день
Ремни тугие
Давят левое плечо,
Каждый день
Ветра степные
Жгут сожженное лицо.

Мы не люди —
Духи вьюги,
Неустанный
Ураган..

Каждый день
В огне и буре
Кружит белый нас буран...
Пламень алый
Стяг походный,
Неисходный
Путь вперед —

Без конца в пургу и вьюгу, —
Версты,
Версты!

Друг за другом!
А нашли в степи лачугу —
Лишь один не спи и стой
Одинокий часовой.
Что за белой пеленой?
В этой белой, белой буре

Сны ли, годы иль века
Мы не спим и караулим
Голубые берега?
Солнце сердца
Сердце ранит,
В сердце радость
И тоска ...
В ореоле
Льдистых радуг
Солнце — огненное знамя
Жжет холодными мечтами
Предзакатные снега.

Меж солнцем дня, спустившимся на Запад,
И Западом попавшим на Восток,
Настала ночь огромная, как рок,
И скрыла Мир в своих мохнатых лапах.

Не спят лишь волк и двое часовых.
Застава замерла в бреду тяжелом
И зимний ветер воет темным долом,
Поет поэмы о победах злых.

Буран ужасней ветра пулемета
И много нас погибло на постах...
— Эй, что за призрак движется в кустах,
Ни враг, ни тень, безмолвный, как забота?!

Нас вечно — двое против двадцати,
Пред нами вечно — бури и пространства,
В мечте всемирной есть печать славянства —
Кто смог бы столько мук перенести?

И не понять не знавшим нашей боли,
Что значит мысль, возникшая на миг:

— Ведь это я стою с винтовкой в поле,
Ведь это *мой* средь вьюги бьется крик!

— Спусти курок, то лишь бродяга,
Лесной бродяга — старый волк,
Добычи, видно, ждет бедняга, —
Убитых не оставит полк.

Ты — замечтался... Шум столицы...
Ученых напряженный спор...
Полузабытые страницы,
Какие бросил Пифагор?..

Покой и роскошь библиотек, —
Прекраснейшая всех святынь!
И серый мрамор старых готик...
И одиночество пустынь...

Очнись, замерзнешь, — в эти миги
Никто не вспомнит грязь и вшей
И наши страшные вериги —
Свинцовый гнет патронташей!

— Посмотри, как близко серый...
Ах, какая тьма взвилась!
Словно черные химеры
Затевают мертвый пляс.

Караульный что ли дремлет,
Время ль хочет перестать?
Так и клонит сон на землю
Лечь и больше не вставать.

Все быстрее и нелепей
Теней ночи хоровод.

Уж не вражьи ль это цепи ...
— Эй, товарищ, кто идет?!

.

Вьюга длится, длится, длится,
Словно злобный вой зверей,
Ветер северный томится,
Как бы жизнь задуть скорей.

Тьма огромна и глубока
И растет, растет, растет,
Словно с дальнего востока
Солнце черное встает.

Только солнце сердца бьется
В тьме степей и смерти льдов,
Только солнца раздается
Одинокий грозный зов.

Преодолеть слепой стихии
Должны мы огненный ожог.
Как сердце алый свой поток,
Нас сердце бросило России.

Сильнее волю закали
Сквозь строй невиданных походов,
В едва мерцающей дали,
Сияет высшая свобода!

И если ночь вокруг темней,
Мы разбрасаем маяками,
В тайге и пропасти степей,
Сердца, зажженные кострами.

Пусть ненавидеть будут нас, —
Таежный зверь огней боится,

Пусть часто видишь: вражий глаз
Из тьмы раздвинутой косится —

Мы сдвинем Азию на юг!
И Солнце в первозданной тундре

Начертит свой палящий круг,
Ползучих роз лаская кудри.

Здесь будет центр всемирных грез,
Здесь — в беспредельной нашей шири!
И сказкой вспомнится гипноз
Пустынь таинственных Сибири ...

Мечта иль явь? — наш путь один.
Дойдем изнемогая в ранах.
Мы — в стихшем сердце урагана —
Бродило будущих лавин.

Сквозь бури, морозы и пламя
Я душу, как чудо, пронес.
Привычное алое знамя
Лишь отблеск сиявших нам грез.

Разливы, вошедшие в русло,
Ленивей, как прежде, текут,
И старого беженца гусли
О прежних победах поют.

Я помню, как светлые бреды,
(Железнее стала душа),
И светлые наши беседы,
И плески в морских камышах.

Но сердце, мой спутник, не радо,
Что в бурю встречается мель.
Ненужного счастья не надо,
Не в счастья последняя цель.

Есть высшее цепи инерций.
Есть воля прекрасней Стожар...
О солнце, все солнце и сердце
Тебе —Мировой Пожар!

МЕДУЗА

«Поймите мысль, как будто пленой
Здесь скрытую под странными стихами»

(Данте. Ад. IX).

В огне мечты моей безумной музы
За Данте молча к Дите я иду
Смотреть в глаза чарующей Медузы.

Огни, как души, мечутся в чаду.
Как дым огней колыхнется тревога,
Но страха нет и я спокойно жду.

Уходит вглубь знакомая дорога
И прежние опять мне снятся сны, —
Я смел смотреть в слепящий образ Бога,

Я погружал себя в терзання Сатаны
И я устал от муки и от странствий,
Я жажду тайн последней глубины.

Одни глаза в аду не видел Данте,
Я должен знать их черную мечту —
Ей испытать отлитый волей панцирь.

Сознание гаснет медленно в бреду,
В глазах мелькают огненные маки,
За Данте молча к Дите я иду...

И, вдруг, померкли звезды в зодиаке,
Огни сменил сияющий испуг,
И грозный, призрак встал пред мной, как факел.

Сильнее смерти был чудесный лук
Жестоких губ, хранящих все экстазы
Каких-то грез, каких-то странных мук.

И пламенели черные алмазы
Огромных глаз, сильнейших чем любовь,
Над ними, тенью лун ущербной фазы,

В лучистом блеске изгибалась бровь...
Но выше, там, чудесные камни,
Терзая душу без конца и вновь,

Глаза другие странно пламенели,
Чудовищные адские цветы...
Я вздрогнул их узнав. То были змеи.

Тогда остановились все мечты,
И только воля бешено боролась.
Сознание, словно луч, из пустоты

Рвалось, дрожа узором ореола,
Но падало опять в слепой провал
И пела кровь, как струны арф Эола.

О, невозможное, и я теперь дрожал,
Я — сын Земли, где много так чудовищ
То ледяной экстаз торжествовал, —

Склонись! Пади! Иль сердце остановишь
Но сердце жег палящий светлый газ
Желаньем неизведанных сокровищ.

Немой, как дервиш кончивший намаз,
Как зачарованный одной дилеммой
Иль словно лань, огнем змеиных глаз,

Я любовался грозной диадемой
Нежнейшее венчающей из тел.
И так стояли человек и демон.

Томился дух. За мигом миг летел,
Но не менялась часовая хорда.
Я молча улыбался и смотрел

Все более бестрепетно и гордо ...
И, вдруг, в змеином взоре, вспыхнул страх,
И все затмил, как боль в душе аккорда.

То было нечто, словно слизь в морях,
В лазурных безднах — бледные гротески...
Я отвернулся. Тень легла в глазах...

Мы шли назад. Подъемы были резки.
Средь бездн, как луч, скользил метеорит
И плакал круг Паоло и Франчески.

Мы шли туда, где жизнь моя летит,
Где, как в Аду, я слышал больше стоны...
Блестит зарница. Спутник мой молчит.

В забвеньи темном тонет тень Горгоны.
Почти окончен легендарный путь.
Я вижу свет, сознанием вознесенный.

В порыве вышем поднимая грудь,
Задумчиво и ясно в стихшем кличе,
Прошу я рассказать мне что-нибудь

О бесконечности, о Беатриче.

Примечания

Эмпедокл — сицилийский философ и поэт V века до Р. Х. Существует легенда, что он бросился в кратер Этны. Этот момент, вместе с отражением его философии, изображен в стихотворении «Эмпедокл».

Дедал — легендарный художник-архитектор. По преданию он первый поднялся в воздух на искусственных крыльях.

Атолл — коралловый остров.

Протуберанцы — взрывы, извержения раскаленных светящихся газов на звездах.

Пропилеи — преддверие эллинских храмов.

Бос — надсмотрщик, хозяин.

Тангенс — «перейдя черту» прямого угла, из + oo превращается в — oo.

Страна Гонгури — См. В. Итин «Страна Гонгури» (повесть-утопия), Госиздат, 1922. Гонгури — дочь автора, умершая 1-IX-1922 года.

НЕСОБРАННЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

1922 — 1937

Я живу в кинотеатре
С пышным именем «Фурор»,
Сплю, накрывшись старой картой
С дыркой у Кавказских гор.
О Кавказ! — В былые годы
Благодатный этот край
Был синонимом свободы,
Как земной счастливый рай.
Здесь поэзия России,
Как былинный исполин,
Крепла, набирая силы,
Вырастала до вершин.
Здесь и Лермонтов, и Пушкин
Воспевали дивный край:
И ущелья, и опушки,
И полет орлиных стай.

Здесь мятежный Грибоедов
Был особенно любим,
И персидские победы
Расцветали вместе с ним.

Посреди сибирской ночи
Я стихов слагаю нить...
За корявый стиль и почерк
Меня можно обвинить.

Я от горя не раскисну:
Стих мой из-под топора,
Ведь от музыки, от российской,
Мне досталась лишь дыра.

Кто смерть видал — умеет жить.
Кто жить умел — не трусит смерти.
Как бурь всемирных не любить, —
Кто смерть видал — умеет жить!
Ушли солдаты победить,
Не плачьте, девушки, и верьте:
Кто смерть видал — умеет жить,
Кто жить умел — не трусит смерти.

ВЕРЕВКА

Бутылки, объедки — в углу винтовки,
Дедушка Маркс и красный стяг.
У военкома кусок веревки.
— Вот «на счастье» храню шутя.
От разведки отбился тропой овражьем,
Где травы в рост головы.
Черт побори это место вражье —
Бугры, перелески, рвы.
Продрался за ночь среди коряжищ
К жилью, едва рассвело.
Часовой без погон. Я сдуру: «Товарищ,
Какое это село?»
— А, «товарищ!» — Наизготовку!..
Штыки. Офицер, как жердь.
Ткнул кулаком: «Бросай винтовку...»
Ну, что же, думаю, — смерть.

На улицах строились взводы и роты,
Уходили от наших сил...
Доброволец залез на крутые ворота
И вот эту веревку спустил.
Бил барабан, торопил, ругался.
Путал команду, спеша...
Как сказать? — я не то, что боялся,

А так — изводилась душа,
Одного я узнал вольноопера Петьку...
Лошади дыбом взвились.
Жесткие пальцы сдавили петлю
И все провалилось в высь...
А вышло так. Алая, башкирин,
Повис на мне. Придушить хотел,
Но конопля косоглазой гири
Не сдержала...
И вот — уцелел!

.

Бутылки, объедки. Красное знамя.
Военком говорит, шутя.
Но краснее и жарче память,
Чем громами гремющий стяг.
Как в зеркале, в глиняном блюде —
Радость и боль бурь—
Сибирь
на коне и верблюде
Кто за нами проедет в пургу?

ЧЕРЕЗ ОКЕАН

Синяя блуза рванула пропеллер.
Взрыв.
Мотор завыл.
Наш Виккерс-Вими качнулся и прыгнул
На гулкую грудь синевы.
Солнце за нами.
Поднялся с прерий
Мягкий вечерний туман.
Мель Нью-Фаундленда...

Атлантик! Атлантик!
С востока — навстречу — тьма.
Нет больше времени...
Здравствуй хаос!
Ветер —
 туман и ночь!
Проснешься и вдруг — мохнатый праотец
Сзади возьмет за плечо.
И руки невольно крылья кренят,
Ища невозможной земли.
Миг —
И за грань четырех измерений
Бешено бросят рули.
И — как молния:
В опрокинутом небе,
Не помня —
Где бездна и высь —
Я увидел вспененный гребень
И крикнул, сквозь сон, — держись!
И Виккерс-Вими,
Замочив колеса,
Воспрянул — крылатый Антей —
И снова воздушными влажными плесами
Помчался к любимой
Мечте.

ЗВЕЗДНЫЕ ОЗНОБЫ

Я только что прочел о книге Нернста.
Еще одна попытка светлого ума
Сказать: я — миг, но если после тьма?
Вселенная, доказано, бессмертна.
И долго я внимательно следил
За превращеньем атомов и сил.
Года. Века. Миллионы. Бесконечность.
Пространства тысяч световых годов.

Как странно различать: Вселенная конечна
И безгранична. Да, как формы наших снов,
Как мысли изумительной паренье.
Пришел редактор. Вы стихотворенье
Должны ... На новый год... «Советская Сибирь»...
И сразу сузилась и напряглась ширь.

.

Нам каждый год тяжка необходимость.
Мы в шутку просим «чуда» в новый год.
Разбитый – побеждающий – непобедимый
Рабочий вырвет власть у всех своих господ.
Но будут жить века столпотворенья.
Мечтая о далеких берегах
(Вы поняли мое стихотворенье?)
Мы говорим на разных языках.
И я хочу, чтоб в этот год единый
Товарищ слесарь из депо и я
Склонились над одной картиной
Бессмертия и смерти бытия.
Чтоб всем чрез год отчаянной учебы
Доступны стали звездные ознобы.

1923

БРЕСТ

(Эскиз к поэме)

1918 год
Чрезвычайный съезд,
Тихо.
Чичерин.
Брест.

Тревоги никто не подавит,
Молчанья чугунный удав.
Лапой мохнатой зажаты
Шершавые глотки солдат.
В дипломатической ложе —
Монокль,
Бинокль.
— Пойдемте... воздух тяжелый...
Вши...
— Вымыться лень

скотине...

А Л е н и н
В ы ш е л
В е с е л ы й,

к а к и м е н и н н и к.

Трудно сказать, — человеческий это голос
Или гудит стосильный дизель.
Ясно, в стальном и голом
Черепе взрыв на взрыве.

Сдвинулись и помчались
Вот оно четвертое измерение!
Капитан
Коренастый
Отчалил
В океан
Ненастный
Времени
И ясно —

Мы видим сами! —

Над Рейхстагом,
В Берлине,
Красное Знамя!..

А в сущности — говорил, как в школе.
«Тильзитский мир»... «борьба классов»...

Но громадной и грозной волей
Разгорались сердца у нас.

Глаза в глаза.
— Кто «за»?
Гимнастерки.
Три четверти.
Направо — треть...
Здесь — рука,
Там рука...

Кончено.
Неутолимы и точны
Наши подписи,
Ленинская точка.

ФЕВРАЛЬ

I.

Накануне удалась вечерка,
Да хозяйка нашипела в телефон.
Вел меня в участок по задворкам
Рыжий здоровенный фараон.
Утром выпустили — вижу
Не проспался, не прошел испуг.
Вот, вагоны более не движутся,
А глазают, лежа на боку.
Подошел вплотную — нет не снится.
Два гвардейца тихо, начеку:
— Разъяснять кого-нибудь, на митинг,
Нужно нам в шестнадцатом полку...
Легкий воздух стал как будто шире,
Шире груди и сердца солдат.
Только, сбросив с плеч привычных гири,
Чувствуешь, как плечи заболят.

II.

Над Невой, над гранитом, над снегом
 Небо в горячке дрожит.
Но легко верстовым разбегом
 Шагать, притиснув ножи.
— Помнишь эти февральские ночи?
 Выстрелы и фонари.
А за парком, в квартале рабочем,
Огнекрылые степи зари.
Извержения первых пожарищ
 Грозной и гулкой земли.
— Где, скажите, горит, товарищ?
— Это мы... участок... сожгли!

III.

— Я не помню, жил я или не жил.
Так, обвалом, закружилось все.
Мы свою хрипели Марсельезу,
Выплетая ленты из девичьих кос.
У костров бумажных грея ноги,
У костров судейских потрохов,
Подводили славные итоги
Забранных патронов и штыков.
И , как ленты, той же кровью алой
Сердце злое билось о ружье.
Ведь тогда еще не полиняло
Красных флагов новое тряпье.
А в харчевне, рядом, вижу — тоже:
Николай-угодник и портрет царя.
— Эй, товарищ, это что за рожа?
Почесался: «Да, понятно, — зря».
Не спеша соскреб в стакане пенки,
Встал на самодельный стул.

Повернул царя мундиром к стенке
И словцо такое завернул.
Так погиб последний из династий
И угодник божий загрустил,
Открывая двери нашей касте
Никогда не виданных громил.

IV.

Я никогда еще не слышал
Такого грома в облаках,
Когда взбирались мы по крышам,
Ища врагов на чердаках.
Пять корпусов палили в солнце,
Чтоб кровь сильнее разожгло.
И флаг совали мы в оконце,
На штык рубаху приколов.
На колокольнях и соборах,
Где пулеметам цель в толпу,
Отменный ладан легкий порох
Указывал упрямый путь.
И, как всегда, победой быстрой
Отметив каменный карниз,
Какие громовые искры
Мы с высоты бросали вниз.
Потом, свершивши муэдзинов
Призывы глоткой из свинца,
В прохладный бархат лимузинов
Спускались, остудить сердца.
И, множа мелкую тревогу,
Рожок взбесившийся орал:
— Эй, пешеходы, дай дорогу!
— Эй, сторонитесь, генерал!

V.

Сумрак газовых огней неверный,
Да веселые напевы пуль.
Прислонясь к гранитному барьеру,
Отдыхая, закурил патруль.
Вдруг, из мглы, рожденный дымной далью,
К нам подходит призрак той поры
С головой покрытый бабьей шалью
И осипшим басом говорит:
— Арестуйте, гражданин, товарищ.
— Ты, что, выпил? — Я городской.
От солдат куда ни удираешь, —
Мне б в деревню лучше на покой...
И пошел за ним я, нянька за дитятей.
У огня вгляделся, — что за сон? —
Это он, недавний мой приятель,
Рыжий, здоровенный фараон.

БЛОКНОТ ПОЭТА

1.

«Пока не требует поэта»...

Курс рубля. Ультиматум. Банк.
Косточки счет — свет.
Цены — мука, мануфактура, бумага.
— Делайте из копейки две!
Потом редакция. Стихи, как устрицы.
Проглотишь — ни сыт, ни голоден.
Надписи —
«В архив». «Доложить». «Мусор».
Шесть часов механического завода.

Дома, как у всех поэтов,
Туже черепа лапа.
В кухне диспут о пережаренных котлетах,
За стенкой — о модных шляпках.
Поесть из миски и — голову в подушку.
Выключить мозг до вечера.
Лучше так — не раздавит душу
Буден медленный глетчер.

.

Но вот, наконец, ночь. Пора проснуться.
В комнате дым. На крючок дверь...
Чтоб в клетке мозга опять пригнулось
Сердце — веселый зверь.

2.

«Так называемая душа»
Н. Асеев.

Ах, забросить бы стихи подальше,
Рукописи в печку затолкнуть
И уйти в сияющие дали,
Голую подставить солнцу грудь!
Лучше, чем невидимые грузы,
Бочки соли на спине таскать,
Грызть селедку с горстью кукурузы,
Да следить над морем облака.
Иль уйти в дремучий грохот улиц,
В кинолет столиц, где гул и пыль, —
Чем шагать, сгибаясь и сутулясь,
В чистом поле с ветлами чернил.

.

И все же безвольно и жадно,
Как волк на добычу в глуши,
Выхожу с ненасытной жаждой
На распутья дорог души.
О, просторы — седые когорты,
Заповедная тяжкая ширь,
Как по надписям темным и стертым
Верный путь изберет богатырь!
Атаман, я любя ненавижу
Непокорную вольницу слов...
Что ж, не лаской — нагайками выжгу
Драгоценную сталь стихов.

3.

«Ненавижу всяческую мертвечину,
Обожаю всяческую жизнь».

В. Маяковский.

На стихотворной бирже паника, —
Поэты выброшены в массы:
На рынке косолапый Ванька
В стихи завертывает масло.

Пускай стихами бабы лаются —
Как Маркс, декреты рынка правы!
Едва родившись, разлагаются
Поденок легкие оравы.

Попутчики и напостовцы
Со складов Лазарями вылезли...
Но Госиздат бранят торговцы,
Что тухнет от стихов провизия.

.

И это — мы!..
Сибирь и глотка Крыма.
Сто тысяч верст исхоженных путей.
Весь мир,
Как взрыв порохового дыма,
Смятенный ветром наших дней.
Мы — гром веков, мы — чрево революций!
У нас под черепами накипь урагана!..
Но трудно нам, рожденным вновь, проснуться
От едкого тумана.

Мы, разбежавшись слишком быстро
На помочах у няньки старой,
Боимся, что быстрее — искры
От гроз развеянных пожаров...
Но жадно ждем, все жарче и железней,
Ведь не напрасно сердце в клочья,
Что в нас —

Восток другой поэзии,
Как солнце в дни полярной ночи.

СОН В КАНЦЕЛЯРИИ

Я умер. В рай пришел. Учетчик дошлый
Сказал: «Пардон, Вы здесь с учета сняты».
Я вспоминал, — где видел эту харю в прошлом? —
И крыл профессора учета матом.
Ужасно рассердился герр профессор.
Хлопнул электрической хлопушкой.
— Вы, молодой человек, не в СССР.
Не берите на пушку!
И пошел я, как выдвигенец,
Искать назначения в чертовом штабе.
— Войдите в мое положение!
— Скитаюсь в мировом масштабе!

А чиновник ответил, с поправками и околичностями:
«Мы не занимаемся отдельными личностями».

1925

ПО ПОВОДУ ЛЕТА

(Письмо)

Я — вообще — сторонник буден,
Мы к будущему так идем.
Но в Азии —
 шаманский бубен
Звучит у входа в исполком.
Но час полета —
 У предрика
Седой и меднолицый кам
В подземный мир идет Эрлика
Ступенями
 как этот ямб!

Здесь к были были страннее сказок.
Вот сельсовет недавно тут,
Чтобы спасти коров от сглаза,
Село заставил лезть в хомут.
(Ветеринар изрек резонно
В раскрытые мужичьи рты:
—Бурды объевшись самогонной,
Подохли оные скоты)...

Я се к тому —
 что надо видеть,
Что дальше —дом,
 литгруппы —
 чушь:

Ведь скоро сном
 об Атлантиде
Приснится молодая глушь.
Я за тайгу,
 за солнце прерий
Столицы — это
 зимний спорт.
А лето —
 лето —
 южный порт,
Винтовка, и седло, и звери.

Взгляни вершину Иртыша
И озеро у той вершины,
В шуршащей ткани камыша
Побудь с ватагой лебединой.
Там легче воздух, шире грудь
И туже кровь в лучах аорты...
Мне жалко тех, чей косный путь —
На зараженные курорты!

Но лучше север.
Море.
Даль.
Хорошее бездумье вахты.
Зеленые обломки льда
Идут
 как парусные яхты.
И пусть окрепнет острый вал,
В упорстве
 (мне с тобой знакомом),
Как повод у коня, штурвал
И так же конь шагает бомом.
Упорство —
 черною чертой.
Упорство —

цифрами картушки.
И все ж —
в пустыню —
ветер —
вой —

Летят матросские частушки.
Раз матросня была пьяна.
Коль разбушуетя
— полундра!
Но завтра берег.
Тишина.
Но завтра берег.
Ночь и тундра.

На берегу — тяжелый след.
На берегу бегут олени
В смраду поднялся на колени
Спокойный, серый самоед.
И мы приносим вместе Нуму,
Как небо мгlistому с лица
Лоскут и горсточку изюму,
Чтоб урожай послал песка.

Под ледяным огнем норд-оста
Костер из кучи плавника.
Рефракцией приподнят остров.
Над морем ветер,
облака.

И я живу одним дыханьем,
Я пью оледеневший снег.
И знаю крепко:
Человек
Цветет под северным сияньем.

РОЗА ВЕТРОВ

Записывайте точно,
Звонящие ветра,
На плесах от Могочино
До Нового порта.

Получим звездный график
Для каждой широты...
— Любитель географии,
Вы любите цветы?

Не редки, как ни странно,
Ученые поэты
И розой диаграмму
Они назвали эту.

Не блекнет от мороза,
Пышней от каждой бури,
Единственная роза
Арктической лазури.

И, вместо солнца, веер,
Головку лепестков,
Она кладет на север
В страну плавучих льдов.

Вооружимся волей,
Кто ищет верный путь.
Точней десятой доли
Считайте в стеклах ртути.

Подобно льдинам в море
И тучам для хлебов,
Ищите ветра в поле
У тех же берегов.

ПУТЬ ОТКРЫТ

Далеко за полярным кругом
(И не верится,
 что октябрьским днем!)
Мы идем по зеленым застругам
Северным морским путем.

Лед растаял и в море чисто.
И ветер предельно чист.
Я его не сменю на душистый
Черноморский розовый бриз.

Ветер и солнце,
И стандарты леса
На солнце — теплой янтаря...
Наш курс на запад.
Остров «Агнесса»
На траверсе к югу.
— All right!

...Пройдя рекою и веками,
Мы выйдем на оленьи мхи...
«Карга-Урек», «Ефремов Камень» —
Вот музыка имен моих.

Там, в промежуток вечных бурь,
Ведут веселую игру
Вокруг задумчивой стамухи
Большие быстрые белухи.

И там, где трупом лег «Вайгач»,
Я видел, набивая трубку, —

Большой медведь умчался вскачь
И скрылся в штурманскую рубку.

Я встретил гостя, ставя пасть.
Присев к огню и льдинки тая,
Он рассказал, что шел узнать,
На Диксон, про дела Китая.

А ночью, выйдя за нуждой,
Я заблудился в космах бреда,
И вышел на берег другой,
Спасенный лайкой самоеда.

Юрак прищурился хитро,
Потрогав амулеты Хахе,
И просит финское перо
За шкурку рослой росомахи.

12.9.1929

В ЧУМЕ

Арктика. Льдины. Нерпичья норка.
Звери бегут, завидя форштевень...
— Чума твоего какая говорка?
— Мы моряки с ледокола «Ленин».

В этих морях зверобойные шхуны,
Мамонта клык и сало моржей.
— Крепкие ветры Красной коммуны
Веют все дальше и все свежей!

Энга, товарищ, за царскую водку
Уж не пойдут дорогие клыки.

Мы привезли самоедам пособку —
Ружья и порох, и белой муки.

Север не только одним заповеден
Голубоватым отливом песцов,
Жиром белух и белым медведем,
Да барышами варяжских купцов.

Рано — не рано, что будет — то будет:
Каменный уголь, курейский графит,
Скрытые в тундрах тяжелые руды
Выйдут на рынок из рамок строфы.

Мы, моряки с ледокола «Ленин»
В чуме твоём, как у давних друзей...
— Знайте, сильнее миллиона оленей
Будет машины вертеть Енисей!

В этих краях, где поморские кочи
Рухлядью мягкой сбирали ясак, —
Новое солнце в полярной ночи
Вам обещает советский моряк.

РЫРКАРПИЙ — МОРЖОВЫЙ МЫС

Анкаультенхин, голубой цветочек!
Южный ветердохнул, он вырос на гальке.
Его лепесткилюбят чукотские дети
Анкаультенхин, голубой цветочек...

Я иду по берегу Полярного моря.
Великие льдыпреградили нам путь,
С вершины Рыркарпия бел и недвижим
Пролив Лонга.

Кости раотам-кита отмечают дорогу.
Череп рырка смотрит тремя глазами.
Кричит чайка-аяк.
Молчит проводник Этуг.
Тинантунг. Тиньтин. Тиркитир:
Небо, лед, солнце.
Вот его дом —
Яранга, с оленьим пологом и нерпичьим жиром...

Анкаультенхин, голубой цветочек!
Мы прошли двадцать миль по мелкой гальке,
Я устал и потому говорю с тобой,
Напевая в такт, как чукча.

Ритм, ритм — великая вещь!
Если горе, не теряй этого ритма.
Я иду по берегу Полярного моря.
Льды надвинулись к самым моим ногам,
И даже дно морское замерзло.
Год тяжелый. Лед.

— Иоо, подуй!
Южный ветер, подуй!
Вот когда моряки просят шторма!
Но Тинантунг спит.
Один просит шторма, другой тишины.
Русский — свободного моря, чукча — льда,
На котором спят рырки-моржи...

Рыркарий надвинулся в море
До самого зимнего льда.
Спит Тинантунг — Тиньтинь.
Ему все равно.

1931 г. Август.

[ИЗ Э. ПО]

Большое гала-представленье!
Веселый час последних лет.
Бросают люстры желтый свет
На пестро-мрачное виденье.
Оркестром правит Люцифер
И тихо льются звуки сфер...
Театр огромен, словно дымы
Под сводом облака легли...
О, рано плакать, серафимы!
К вам долетели сны Земли?
Смотрите! Вот взвились завесы, —
Сам бог великий — автор Пьесы!
Шуты украли образ бога
И странно озарен им ад.
Марионетки! Как их много!
Идут вперед, идут назад...
По приказанью некой вещи —
То знаменитый режиссер,
Парящий в бездне дух зловещий,
Из бездн кидающий свой взор,
Как кондор в глубь скалистых трещин,
Как меч огня в пустую твердь —
Невидимая Смерть!
Вам не забыть, о серафимы,
Рукоплескатели, рабы,
Надежд и ужасов толпы,
Где люди, призраком томимы,
За ним бегут всегда, всегда,
Стараясь победить друг друга,
Но заколдованного круга
Им не избегнуть никогда!
И вечно тот же гнет арены,
Мелькание тех же скучных вех...
Здесь все — безумие и грех,
И страх — душа проклятой сцены!

Но вот средь сборища шутов,
Исчадые мутных злобных снов,
Встает кроваво-красный зверь.
Шуты безумствуют теперь,
Изнемогая от тоски,
И ненасытные клыки,
Как молния, все вновь и вновь
Впиваются в людскую кровь.

.

Прочь, прочь огни! Все прочь! Все прочь!
Непроницаемая ночь
Да скроет, словно саван черный,
Трепещущие формы!
Прошел кошмар. Но странных грез
Еще царит полет греховный,
И ангелы встают безмолвно
Бледнее лунных белых роз,
Бледнее ключев нежной пены.
И в пустоте огромной сцены,
Как будто Небо раскололось,
Звучит победный мертвый голос:
«Хвалите Автора вовек!»
«Окончен фарс! Фарс – Человек!»

ДОГАРЕССА

(Подражание Пушкину)

«В голубом эфира поле,
Блещет месяц золотой,
Старый дож плывет в гондоле
С догарессой молодой».

Догаресса молодая
Беспокойна и бледна.
Старый дож, ее лаская,
Говорит: «Моя жена,
Отчего же ты грустна?
Отчего же без участия
Смотришь ты в мое лицо,
Или ты не знаешь счастья,
От меня приняв кольцо?..»
Догаресса молодая
Беспокойна и бледна.
Вдруг сверкнул клинок, блистая.
Труп скрывает глубина.
Догаресса молодая
С гондольером молодым.
Ночь, луна и ширь без края,
Хорошо им быть одним!
— Я неволей догаресса,
Я не знатна, не принцесса, —
Дожу силой отдана.
Но почет не стоит счастья
Молодого сладострастья.
Лучше буду я бедна,
Но любимому верна.

.

«В голубом эфира поле,
Блещет месяц золотой».
Гондольер плывет в гондоле
С догарессой молодой.

—

СТАНСЫ

Как опьянение, проходит юность,
Суровый труд мечтание зовет.
О множество миров! Джордано Бруно,
Кто доказал предвиденье твое?

Я думаю, неведомо, однажды
Родилась мысль и не умрет она,
Ничто неповторимо в мире дважды,
А повторенье — бег вперед, волна.

Мы в первый раз из вечности возникли
И только здесь, на молодой земле,
Иначе к нам давным-давно проникли б
Наследники бесчисленных планет.

Нет, это я шагну сейчас в пространство,
Своих детей оставлю на Луне,
Малиновый пожар протуберанцев
Увижу в звездной, в страстной вышине!

Мы, электрон, материя — конечны,
Но в некой бесконечной пустоте
Они бессмертны и отныне вечны:
Мы подчиним материю мечте.

Любовь дала нам жизнь, мечту и смелость.
Предела нет желанию любви.
Любовь сильна, но страстность подави,
Когда взлететь на небо захотелось.

О, ты основа мира, ты тяжка,
Миры удерживающая сила!
Но манят птицы, манят облака,
Плывущие по глубинам сизокрылой.

Славней героев летчики у нас,
Мы безотчетно обожаем крылья.
Мы не спускаем с неба гордых глаз,
Когда над маем реет эскадрилья.

Но как ни славно гордое стремленье,
В нем остается страстная печаль:
Как мало — двадцать километров вверх,
Как мало — только десять тысяч вдаль...

Мы победим. Но счастье достижения
Пусть нам дадут скорее труд и мысль.
Откройте вещество, что рвется ввысь!
Отдайте жизнь загадке тяготенья...

А если звезды слишком далеки,
Пусть нашу мысль почувствуют враги!

СКОВАННЫЙ ПРОМЕТЕЙ

«Я Прометей, я людям дал огонь»
Эсхил.

— Я только раб тирана олимпийца,
Прикованный к скале Кавказских гор,
И мой палач — пернатый кровопийца,

Опять на мне покоит хищный взор.
Я принужден страдать, не умирая.
Но счастлив я, судьбе наперекор!

Во сне всемирном, без конца и края,
Растет пожар из темных душ людских.
Пожар от искры, взятой мной из рая.

О Зевс, о царь, — при свете грез моих
Твой лик бледней, чем самый бледный камень,
И гаснут громы в небесах нагих.

Ты весь умрешь — я твой похитил пламень —
Я весь, всегда, живу в сердцах людей.
И пусть теперь когтями я изранен,

Я в смертных жив — бессмертный Прометей!

Примечания

Тексты приводятся по первым публикациям с исправлением очевидных опечаток и некоторых устаревших особенностей орфографии и пунктуации.

Урамбо

Впервые: *Сибирские огни*, 1923, № 5-6, сентябрь-декабрь.

Некоторые особенности повести заставляют предположить, что она является переработкой более раннего, написанного до 1918 г. текста, который Итин мог получить вместе с рукописью рассказа «Открытие Риэля» (см. т. I).

Власть

Впервые: *Сибирские огни*, 1922, № 4, сентябрь-октябрь.

Избранные стихотворения

В. Итин писал стихи всю сознательную жизнь, однако опубликовал лишь один поэтический сборник – «Солнце сердца», вышедший в Новониколаевске (Новосибирске) в 1923 г. Этот сборник приводится нами полностью и составляет первую часть данного раздела. Во второй части приведены несобранные стихотворения В. Итина, в основном публиковавшиеся в журн. *Сибирские огни*. В подборку не включен ряд ранних и слабых стихотворений, сохранившихся в архиве Л. Рейснер; с некоторыми из них читатель может ознакомиться в сб. Итина «Стихи: 1912-1937» (Минск, 2007). Также не включены несколько «обязательных» стихотворений о Ленине, Сталине и колхозах (справедливость требует указать, что подобных стихов у Итина крайне мало). Таким образом, за вычетом указанных текстов, приводимая подборка практически исчерпывает сохранившееся поэтическое наследие В. Итина. Мож-

но предположить, что многие его стихотворения погибли вместе с архивом, конфискованным при аресте в 1938 г.

Синтез солнца и сердца

В. П. Правдухин (1892-1938) — писатель, критик, участник группы «Перевал», один из основателей журн. «Сибирские огни», муж писательницы Л. Сейфуллиной. В 1923 г. переехал из Сибири в Москву, заведовал отделом литературной критики журнала «Красная нива», сотрудничал с журналом «Красная новь». Был арестован в августе 1937 и расстрелян в августе 1938 г.

Возвращение

Вс. Горнов — уфимский друг автора.

Похороны моей девочки

А. Итина — жена автора А. И. Итина (Чирикова). Их дочь Гонгури умерла 1 сентября 1922 г. в возрасте 11 месяцев.

Ты весь тайга...

И. Е. Ерошин (1894-1965) — советский поэт. Наиболее известен сб. «Песни Алтая» (первое изд. 1935).

Я люблю борьбу...

Впервые: *Сибирские огни*, 1922, № 5, ноябрь-декабрь.

В. Я. Зазубрин (Зубцов, 1895-1937) — писатель, до 1928 г. ответственный секретарь журн. «Сибирские огни». Прославился благодаря

роману «Два мира» с натуралистическими изображениями ужасов гражданской войны. Повесть «Щепка» (1923) о ЧК и красном терроре оставалась неопубликованной до 1989 г. В 1937 г. был арестован и расстрелян.

Наша раса

Впервые: *Сибирские огни*, 1922, № 5, ноябрь-декабрь.

Л. Н. Сейфуллина (1889-1954) — писательница, автор ряда напечатанных в 1920-х гг. повестей — «Правонарушители», «Пережной», «Виринея».

Солнце сердца

Впервые (с некоторыми разночтениями): *Сибирские огни*, 1922, № 3, июль-август.

Медуза

Впервые: *Сибирские огни*, 1922, № 3, июль-август, со следующим редакционным прим., вероятно, написанным самим автором:

В своем нисхождении к центру ада, Данте изображает сотни чудовищ и чудовищных картин. И только в глаза горгоны Медузы, у адского города Дите, он не посмел взглянуть, потому что для средневекового монаха это было олицетворением сокровенных и страшных глубин человеческого духа, от проявления которых каменеет воля. Данте скрылся от Медузы, не увидев ее.

Этим, единственным в своем роде, эпизодом «Божественной Комедии» навеян сюжет «Медузы» В. И т и н а. «Знакомой дорогой» Данте он идет завершить его достижения — бесстрашной волей преодолеть и сбросить маску очарования Медузы.

Стихотворение написано тем же размером, терцинами, как и поэма Данте (Ред.).

Я живу в кинотеатре...

Публикуется по сб. *Стихи: 1912-1937* (Минск, 2007). Около 1922. Стихотворение достоверно отражает обстоятельства жизни Итина в Канске (см. прим. г т. I).

Кто смерть видал...

Впервые: *Сибирские огни*, 1922, № 1, март-апрель.

Веревка

Впервые: *Сибирские огни*, 1923, № 1-2, январь-апрель.

Через океан

Впервые: *Сибирские огни*, 1923, № 3, май-июнь.

Звездные ознобы

Впервые: *Сибирские огни*, 1934, № 2, март-апрель, в составе авторской публ. неизданных стих. «Читая старые тетради».

В. Г. Нернст (1864-1941) — немецкий химик, физик, автор выдающихся работ по термодинамике, лауреат Нобелевской премии.

Брест

Впервые: *Сибирские огни*, 1924, № 1, январь-март.

Февраль

Впервые: *Сибирские огни*, 1924, № 1, январь-март.

Блокнот поэта

Впервые: *Сибирские огни*, 1924, № 4, сентябрь-октябрь.

Сон в канцелярии

Впервые: *Сибирские огни*, 1934, № 2, март-апрель, в составе авторской публ. неизданных стих. «Читая старые тетради».

По поводу лета

Впервые: *Сибирские огни*, 1927, № 2, март-апрель.

Публикация сопровождалась следующими авторскими прим.:

Кам — алтайский шаман. **Эрлик** — подземный злой бог шаманистов. **Атлантида** — потонувший, как полагают, материк. **Бом** — горная тропа, идущая по карнизу пропасти. **Черная черта** — у компаса отмечает линию движения корабля. **Картушка** — неподвижная часть компаса, с нанесенными на нее цифровыми делениями. **Полундра** — по-морскому: берегись. **В скраду** — в засаде на зверя, дичь. **Нум** — бог самоедов. **Норд-ост** — северо-восточный ветер. **Плавник** — выброшенный на сушу лес, встречающийся в большом количестве по берегам Полярного моря. **Рефракция** — особое преломление световых лучей, обычное в прозрачном воздухе севера, благодаря которому далекие предметы — острова, мысы, берег, кажутся приподнятыми над горизонтом.

Роза ветров

Впервые: *Сибирские огни*, 1934, № 2, март-апрель, в составе авторской публ. неизданных стих. «Читая старые тетради».

Путь открыт

Впервые: *Сибирские огни*, 1929, № 6, сентябрь-октябрь (с подписью «В. И.»).

...Пройдя рекою и веками...

Публикуется по сб. *Стихи: 1912-1937* (Минск, 2007). Приводим прим. из этой кн.:

Ефремов Камень — мыс в Енисейском заливе. Стамуха — льдина, севшая на мель у берега. «Вайгач» — ледокольный пароход, участвовал в северных экспедициях; затонул в 1918 г. в Енисейском заливе. Пасть — ловушка для зверя.

Финское перо — здесь: финский нож.

В чуме

Впервые: *Сибирские огни*, 1930, № 3, март.

Рыкарпий – Моржовый мыс

Впервые: *Сибирские огни*, 1933, № 3-4, март-апрель.

[Из Э. По]

Впервые: *Сибирские огни*, 1933, № 1-2, январь-февраль, как часть главы «Ананасы под березой» из незавершенного (?) романа «Конец страха», над кот. В. Итин работал в 1930-е гг. Стих. Представляет собой вольный перевод «Червя-победителя» (*The Conqueror Worm*, 1843) Э. А. По.

Догаресса

Впервые: *Сибирские огни*, 1937, № 2, март-апрель.

Стансы

Впервые: *Сибирские огни*, 1937, № 2, март-апрель.

Скованный Прометей

Впервые: *Сибирские огни*, 1937, № 2, март-апрель.

Оглавление

УРАМБО	6
ВЛАСТЬ	50
Избранные стихотворения	
СОЛНЦЕ СЕРДЦА	70
<i>В. Правдухин. Синтез Солнца и Сердца</i>	72
Эмпедокл	78
Синий жемчуг	79
Двойные звезды	80
Кино	81
Кому доступно совершенство?	81
Наш домик маленький и тесный...	82
Мне это необходимо, я знаю...	82
Ты, хорошенький, дашь мне десять?	83
Дух – словно океан огромный...	83
Бесцельность	84
Знак бесконечности	85
Наступление	85
Возвращение	87

В трибунале	89
Похороны моей девочки	89
Homo Sapiens	92
Любить хаос горящих миров...	93
Приказываю	93
Электрификация	95
В гавани	96
В тайге	96
Ты весь тайга...	97
Я люблю борьбу...	97
Наша раса	98
Солнце сердца	100
Медуза	107
Примечания	111

НЕСОБРАННЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

Я живу в кинотеатре...	113
Кто смерть видал...	114
Веревка	114
Через океан	115
Звездные ознобы	116

Брест	117
Февраль	119
Блокнот поэта	122
Сон в канцелярии	125
По поводу лета	126
Роза ветров	129
Путь открыт	130
...Пройдя рекою и веками...	130
В чуме	131
Рыркарий – Моржовый мыс	132
[Из Э. По]	134
Догаресса	135
Стансы	137
Скованный Прометей	138
Примечания	140

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

Настоящая публикация преследует исключительно культурно-образовательные цели и не предназначена для какого-либо коммерческого воспроизведения и распространения, извлечения прибыли и т.п.

SALAMANDRA P.V.V.